18+

Владимир Положенцев



ДУХОВНАЯ ГРАМОТА ОТШЕЛЬНИКА ИОРАДИОНА

В поисках живительного зелья

Владимир Положенцев

Духовная грамота отшельника Иорадиона. В поисках живительного зелья

«Издательские решения»

Положенцев В.

Духовная грамота отшельника Иорадиона. В поисках живительного зелья / В. Положенцев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-743653-7

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.После крылатой фразы великого князя Владимира Святославича: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти», попытки создания универсального похмельного зелья на Руси стали сродни поискам философского камня…

ISBN 978-5-44-743653-7

© Положенцев В.
© Издательские решения

Содержание

Давным-давно… 6
Агент Негоциант 9
Ночная сказка 18
Утро туманное 24
Письмо 29
Неожиданное явление 33
Новые обстоятельства 36
Ужин в саду 43
Ответственное поручение 51
Заговор 56
Копченая рыбка 61
Измена 66
Несчастный поп 74
ОБИ-21 79
Конец ознакомительного фрагмента. 83

Духовная грамота отшельника Иорадиона
В поисках живительного зелья

Владимир Положенцев

© Владимир Положенцев, 2016

ISBN 978-5-4474-3653-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Давным-давно…

В лето 7012 от с.м. месяца апреля, в 21 день.
Великое княжество Тферское.

«… И БУДИ ПРОКЛАТИ В ПИТИИ НЕУЕМНЫА, АКИ ИСХОДИШИА ИЗЪ АДОВЪСКИА ВРАТЪ И СКЛОНИАШИСИА ПРЕДЪ ДУШЕГУБНЫА ДИАВОЛОВСКИА СИЛОЮ. БЛЖДЪНИКИ БО ОНЫЕ ЕСТЬ И ВИНОПИВЬЦ…»

Старец Иорадион почесал обкусанными ногтями под желтой бородой, поправил подгоревший фитилек на масляной плошке, задумался. Чего писать-то опосля «ци»? «аз» али «есть»? Али может «иже»? Насочинял грамоту Кирилл Философ, одно томление в груди. Чтоб сейной кириллицей черти в аду Димку Шемяку – пса блудного, до страшного суда пытали. Никакой стройности в написании. Кажный дьяк – замухрышка, яко в башку скаженную взбредет, буквицы составляет. От сего и порядка в княжестве не имаем.

Пару раз чихнув, старик отер нос дырявым девичьим повойником, затем старательно вывел букву «*иже*». Зачеркнул. Накарябал «*аз*». Снова зачеркнул. И, наконец, в сердцах хлопнул по столу общипанным лебединым пером. Да так, что желтый огненный глаз на коноплянке отчаянно заморгал, погас. Старец растворился в темноте как нежить пред святым ликом.

– Марфа! – капризно позвал дед. – Разведи лучину об угли. Да, поди, ужо каша в печи упрела. Посыпь ее сухой копрей.

– Упрела, святой старец, упрела, сейчас подам брашно, – откликнулась молодая, сочнотелая Марфа, сползая с уютной печной лежанки. Лишь еле заметный свет из окошка помогал ей видеть, куда ступать.

– Какой я тобе старец, люциферово племя! – закричал на нее дед. – У тобя дитя мое в чреве ужо шевелится, а ты – старец. Сколько раз глаголил, величай меня лепым Иорадионом.

– Ладнось, старец Иорадион.

– Паки. Тьфу! Вот паполома пардусова, – вновь возмутился старик, походивший на мятый опенок. – Соблазнила божьего человека, теперь не перечь!

– Соблазнила! – всплеснула руками вспотевшая от духоты баба. – А не ты ли, божий человек, мне за околицей перси драл? Я, можот, хотела за Ваньку Коновала пойти. А теперя что? Ты вскорости пред богом зенки выпятишь, а на кого я горемычная останусь?

Босыми ногами Марфа зашлепала в сени, ухватила пучок еловых дранок, вернулась в светлицу. Быстро раздула пшеничными щеками в печи огонек, подпалила лучину.

Подойдя к столу, за которым кряхтел старик, удивилась:

– Ты чегой-то на коровьей шкуре буквицы выводишь? Али у келаря в Ильинском пергамента прикупить нельзя было?

– Иноки нонче жадны. За дюжину цельную гривну просят. Ряхи отъядили, будто у кажного за задувалами по сто рублев упасено. А сие не коровья шкура, Марфушка, – по-стариковски неожиданно поменяв гнев на милость, заелозил на лавке Иорадион, – а сподручной выделки кожица, из седла белого оленя. Ты права, люба моя сязобедрая, скоро пробьет мой час. Зрю ужо, яко ангелы небесные за мной в путь собираются. И потому сочиняю духовную на нетленной коже гораздыми чернилами.

Баба вдруг вся преобразилась, подбоченилась.

– А что у тобя есть-то, акромя старой сорочицы и дырявых портов? – она подергала Иорадиона за заштопанные ею же утром балахаи. – Сколько раз я тобе домогалась взять меня в супружницы человеческие. А ты сидишь на своем острове в окаянной норе, и токмо единожды в месяц, аки выжлец, на случку прибегаешь. Весь тиной и жабами пропах. И что ты там взбраживаешь, что за чертово зелье готовишь? Людишки побить тобя грозятся, а дом энтот спалить.

Всплакнула для порядку, почесала грудь, потом ляжку, зевнула. Выглянула в слюдяное окошко. Сквозь муть разглядела сидящую на шесте ворону с желудем в клюве. Ветер нещадно трепал крылья птице, но она с оглобли не снималась. Осень разошлась не на шутку. Забрасывала землю тяжелым дождем и ржавыми листьями. Сплюнула, перекрестилась. Ойкнула от подпалившей пальцы лучины. Зажгла другую.

– Прости, старец Иорадион. Прости меня горчайшую, – она поцеловала старика в плечо и невольно поморщилась от нестерпимой вони, исходившей от давно немытого тела. – Чего ты отписать-то собрался и кому?

Старик на женщину не рассердился. Взял из ее рук лучину, оживил паклевый фитилек на плошке.

– Духовную грамоту отписываю. Я вельми богат, Марфушка. Токмо мое богатство не в злате и каменьях, а в снизошедшем с небес просветлении ума и чудесным образом раскрывшейся мне тайне. Она то и есть моя истинная драгоценность. Нет, я не раскрою тайну великому князю Ивану Васильевичу. Вельми многого Иван себе требует, а о пользе для княжества не печется. Не выдам тайну мнихам хитрым и, не озлобься, тобе, матушка. Духовная грамота отроку нашему предназначена. А родится дщерь, оной не отдавай. Вручи токмо потомку моему мужеского пола. Мню, отпрыск смекнет, акий изумруд в оленьей кожице огнем переливает. Сходи завтрева в посадские дворы да купи за алтын малый теремок, обитый железом. Я в оный духовную положу. Как преставлюсь, попроси подьячего Оську отписать на березовой бумаге, вон она за укладом Николая Угодника дожидается, день моей кончины и где мои мощи покой обретут. Да накажи чернецам ни в коем разе энтот перстень с десницы моей не сымать.

Дед потер тяжелый перстень о рубаху, полюбовался, как искрит на огне черный, живой, похожий на сорочий глаз, вставленный в золото камень.

– Скажи мнихам, ежели сей перстень с десницы моей попрут, зело прокляну их с небес. Вложи запись Оськину в тот же теремок, в коем и духовную схоронишь. Сундучок спрячь в подполе – под вторым справа красным камнем. На нем ешо вроде как елочка нацарапана. Он легко вынается из кладки.

– Что ты, старец Иорадион, поживи ешо! – не на шутку перепугалась сожительница. – Яко же я без тобя с дитем буду? Что люди-то глаголить станут? Никто ить не ведает, что я от тобя нарожу. Скажут, гулящая. Заплюют, камнями забросают!

– Не заплюют. Народишко тферьской отходчивый, добродушный. От того и Москве поклонился. Топерь иди, не мешай.

– Кашу-то нести? – шмыгая носом, спросила женщина.

– Мне грамотку закончить надобно, опосля. А завтрева чуть свет к камню Черному пойду.

– Зачем тобе туда, Иорадионушка, не ходи! Место там недоброе, кознодейственное. Сказывают, сам Злой гость под ним прячется. Порчу на людей наводит.

– Молчи, скважня неугомонная, коли Бог тобе ума не дал!

Марфа вновь обиженно засопела. Недовольно раздул волосатые ноздри и старик. Большими, кривыми, как у коня, передними зубами постарался подправить кончик на разлохматившемся лебедином пере.

– Опосля камня на остров погребу, миголощу, хозявство свое островное огню предам, – сказал он, удовлетворенно осматривая острие. – Чтоб никаких следов не осталось. Чую, не сегодня – завтрева, гонцы от московского князя пожалуют. Надобно их опередить.

Кряхтя и вздыхая, баба полезла на теплую печь, быстро захрапела, а старец продолжил сочинять грамоту:

«АЗСПИДЪ СЕЙ ПИТИЕ ПОГАНИА ПО ГРЪЕХОМ НАШИМЪ ПРИДОША. АЗЪ ЖЕ НАШЕДЪША ИЗБАВЛЕНИЕ ОТЪ ГРЪХА ПИАНАГО. ЗЪЛИЕ ДО ВИНОПИВЬЦИ ТАКО НАДОБНО ГОТОВИТИ…»

Агент Негоциант

5-е июля 1995 года, Тверская область, деревня Старые Миголощи.

Никто уже не помнил, почему деревня называлась Старые Миголощи. Даже вековая бабка Настя, которая еле ходила, но мыслила еще вполне здраво и по великим праздникам распевала на всю округу церковные песни, не могла ответить на вопрос – что такое Миголощи, почему Миголощи и с чем связано это название. При царском режиме Миголощи были селом, и в нем находился храм. В 35-м, как рассказывала бабка Настя, «ко дню рождения товарища Калинина, храм взорвали донамитом коммуньки», и от него осталась лишь одна полуразрушенная кирпичная стена, на которой при старании можно было разглядеть лик Богородицы. Древнюю фреску сельсоветчики вымарывали, чем могли, но лик все равно проступал. Особенно заметен он был на рассвете, когда над рекой Медведицей поднималось солнце. Проходившие мимо стены селяне – и верующие, и атеисты, кто открыто, а кто тайно крестились. В Миголощи началось паломничество со всей округи и даже из Москвы. Чтобы прекратить религиозный ажиотаж, власти сравняли стену с землей тракторами. Паломники сначала все равно приезжали на святое место, а потом их поток иссяк. И вновь Миголощи превратились в обычную, забытую богом и людьми глушь. Пустеть и хиреть они начала еще при советской власти, а новый режим довершил дело. Теперь в Старых Миголощах постоянно жили только пять человек.

Один из них – Федор Арбузов, что спит сейчас в своем доме под дырявой рубероидной крышей на узкой девичьей кровати. Спит прямо в телогрейке и грязных сапогах. Его мучают ужасные образы, голоса. Один из них его собственный:

«Ох, ну и страшны же эти бамбары – негры племени Мандинго! Страшны. Впрочем, если листья осыпаются уже в середине лета и ложатся наизнанку, это к теплой зиме. Хотя какая, к черту, теплая зима, если на дубах полно старых желудей. К тому же, как утверждал незабвенный Мухаммед ибн Хасан Насирэддин Туси из Хамадана, в начале июля Марс непременно должен находиться в созвездии Ориона, недалеко от звезды Сириус. А он где? Заблудился где-то между Пегасом и Водолеем. Значит, опять националисты в Твери погромы устроят. Да, страшны эти бамбары. Страшнее квазистатического процесса в Кармадонском ущелье. И еще бамбары протыкают свои языки деревянными палками, да так с ними и ходят. А есть-то как? А пить? Пить!»

Федор оторвал голову от мокрой подушки, сел раскорячившись поверх жеваного одеяла. Вытянул руки, посмотрел на кончики пальцев. Вроде не трясутся. Сполз с кровати и так, змеей добрался до зеркала, потом поднялся по стене. Ну и рожа, а глаза! Нет, это не глаза, а пивные пробки. Надегустировался вчера Валькиного аристократического напитка, нечего сказать…

Неожиданно в неопохмеленной голове заныла скрипка. Чей-то красивый мужской баритон проникновенно запел: «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить…»

Ударил себя мозолистым кулаком по лбу, обернулся на другое зеркало, висевшее над старым маминым комодом. Точно, Вельзевул.

Вельзевулом звали совхозного коня, который скончался от старости прошлой зимой. Федор никогда не отличался особой красотой, еще с детства в его лице просматривалось что-то

лошадиное, с годами же лошадиные черты становились все более отчетливыми, а уж с похмелья они приобретали вообще гротесковые формы.

Нет, ну кто же это поет? Я даже слов этой песни наизусть не знаю. Слышал, конечно, много раз, но так чтобы до последнего слова, до запятой….Видимо, эффект водолаза.

В принципе, Федор был начитанным человеком и знал, что на больших глубинах из-за сильного перепада давления, в нейронах головного мозга меняются биохимические процессы, в результате открываются так называемые мозговые схроны. Нам только кажется, что мы что-то забываем, нет, все записывается на жесткий диск. Так вот, водолазы на глубине способны исполнять себе любые мелодии и песни, какие только когда-либо слышали. Видимо, с похмелья в нейронах происходят похожие процессы.

Созерцать свое отражение в мамином зеркале было невмоготу. Так и казалось, что она сейчас появится в углу зеркальной рамы и покажет кулак. Это даже не конь Вельзевул, вздохнул Федор, разглядывая поцарапанные скулы, это какая-то Царевна-лягушка на выданье.

Такого оглушающего эффекта от употребления «изысканного напитка из плодов диких ягод», который вчера притащил лесник Валька, он не ожидал.

Сначала все было хорошо, говорили с Брусловским о золотовалютных резервах Центробанка, потом решили отправиться на Кавказ восстанавливать конституционный порядок, для чего стреляли подкалиберными пулями по сорокам. Но это после первой бутыли, а после второй…. Даже под электрическими пытками Федор бы не вспомнил, что было после второй.

Кто ты, чудовище в зеркале? В тот самый момент, когда Арбузов, топчась на давно немытом полу, ощупывал свою физиономию, в пропахшую перегаром комнату заглянуло хмурое, не выспавшееся за короткую летнюю ночь солнце.

Какие бамбары? Какие негры? Ну, Брусловский, говорил же тебе, не собирай ты, ты, эти дурацкие ягоды у калитки бабы Насти. «Боярышник, боярышник…»

Буду, говорит, теперь виноделием заниматься. Доход немереный. Чем наши Миголощи хуже Шампани? А сам на килограмм сахара два кило дрожжей кладет. Дрожжи-то государственные, на прокорм зверья выделенные, не жалко. Все химичит, с прошлого года не просыхает. Кстати…

Арбузов нервно окинул взглядом углы крохотной комнатенки, обитой листовой фанерой, пошарил рукой под комодом. Пальцы ухватили что-то холодное, скользкое. Оказалось – недоеденный соленый огурец.

Значит, допивали уже в доме, почесал затылок Федор. С кем он решительно не помнил. Может быть с Валькой, а может и со строителями из Новых Миголощ. Здесь Старые Миголощи, через два километра вниз по реке – Новые Миголощи. На самом деле, никакие мужики не строители. Прописаны в Кимрах, а здесь у них дома, доставшиеся от родственников, вот и строят дачникам все, что те попросят. Работы-то в Кимрах давно нет. Так что, возможно были строители. Они огурцов и набросали. Сам Федор почти никогда и ни чем не закусывал.

За сенными дверями должна была находиться четырехлитровая бутыль с бражкой. Поставил еще полгода назад, да так и не открывал. Бутыль, похожая на гаубичный снаряд стояла на месте, только внутри не было ни капли.

В голове вдруг зашумело, картинка перед глазами стала черно-белой. Присел. С досады раздавил огурец каблуком, стукнул кулаком в стенку. Сколько раз зарекался не пить!

В соседней комнате зашуршало, завздыхало, мягко стукнулось о фанерную перегородку. С потолка посыпались сухие мухи. В следующую секунду раздалось глухое и протяжное мычание.

Федор Иванович проснулись, вздохнул Федор, кушать просят. Вероятно, в знак согласия с этим умозаключением, за перегородкой зачмокало, завздыхало. Было слышно, как об пол забилось что-то упругое. Звуки стали нарастать и вскоре уже походили на бившие в едином порыве струи фонтана Дружбы народов.

Пора. На двор просится, прояснил себе ситуацию Федор и начал протирать грязные сапоги подвернувшейся тряпкой.

Армейские сапоги были Федору очень дороги. По всем физическим законам они давно должны были бы развалиться от времени, и, тем не менее, они были живы, держались как истинные солдаты и верно служили хозяину. Не из-за скупости держал их Федор, нет, а из-за дорогой сердцу памяти. Ему их подарил настоящий генерал КГБ.

Арбузов служил в войсках ПВО Московского военного округа, под Серпуховом, в полку с позывным «Дегазация».

Федор, а для всех просто Арбуз, как и многие солдаты части вынужденно постукивал особисту Пилюгину. Кто о чем неблагонадежном говорит, кто, не служа на ракетном дивизионе, интересуется характеристиками пусковых установок и так далее. Бойцы прозвали лейтенанта армейской контрразведки Пилюлей. Но этот Пилюля, на вид совсем еще юноша, одним своим появлением доводил до медвежьей болезни командира части – старого, заслуженного полковника и его заместителей.

Вообще от малинопогонника шарахались все офицеры, но в советские и общегражданские праздники каждый первым норовил пригласить его к себе в гости. Особист не отказывал никому. Он, молча, сидел за столом и сверлил тяжелым взглядом хозяев. Те бледнели и давились дефицитными, полученными в заказах, продуктами.

У заместителя по тылу в горле застряла куриная нога, пришлось, прямо так, с торчащей изо рта птичьей конечностью, тащить капитана в медсанчасть. Фельдшер оказался пьян, достал страшные щипцы и ткнул капитана в глаз. Тот со страху выплюнул курицу, завязалась драка. Их разнимали старослужащие солдаты, о чем позже Арбузов и сообщил Пилюле.

За праздничными столами в присутствии особиста, закаленные портвейном «Кавказ» и различной парфюмерией офицеры, пили спиртное как бы нехотя, по-старушечьи, мелкими глоточками, мол, гадость, какая-то, но ничего не поделаешь, праздник. Но как только Пилюгин уходил, в боевую готовность приводились все средства противовоздушной обороны страны. Если бы в тот момент в какую-нибудь офицерскую квартиру заглянул римский пьяница Калигула, он бы непременно залез от ужаса под стол.

В адрес Пилюгина неслись изощренные оскорбления. Самое безобидное из них-очкастый дебил. И невдомек было простым офицерским душам, что этот самый «дебил» стоит сейчас под дверью и с удовольствием слушает их красноречивые высказывания.

Федор доносил Пилюле по мелочи: кто в самоволку бегает, кто к дочери замполита клеится. А однажды рассказал лейтенанту, что «чурки» из второй роты во время дождя развели под боевой пусковой установкой, покрытой брезентом, костерок. Сыро и зябко, однако, в карауле.

Тогда впервые Пилюгин велел Федору изложить свое донесение на бумаге и подписаться каким-то странным именем – Негоциант.

Таджиков повязали через неделю в солдатской столовой, когда они вопреки мусульманским традициям, с аппетитом поедали плохо проваренную свинину.

Особист объявил Федору благодарность и даже выдал под расписку три рубля премиальных. Затем сказал, что отныне свои донесения Арбузов будет подписывать псевдонимом «Негоциант», а их встречи с лейтенантом станут тайными. Следующая встреча, состоится в субботу в заброшенном бункере за свинофермой.

Федор зашел в библиотеку и в энциклопедии узнал, что «негоциант» с латинского переводится как торговец. Стало быть, я по три рубля живыми людьми торгую, обиделся Арбузов, ну, ладно, Пилюля, за кликуху ответишь.

Ближе к субботе Федор забыл, на какой час назначил ему встречу лейтенант. Помнил только, что речь шла о позднем вечере.

Когда стемнело, тайный агент Негоциант отправился к заброшенному бункеру, ощущая себя Павликом Морозовым, идущим доносить на своего родителя.

Благополучно переправившись через необъятную лужу поросячьего навоза, которая плавно перетекала от свинофермы до входа в старое подземное хранилище, он спустился вниз.

В бункере было совершенно темно и очень холодно.

Федор поежился, зажег спичку, тихо произнес трагическим шпионским голосом: «Пилюля, это я, отзовись!», – и тут же еще больше похолодел. Надо же, обозвал особиста «Пилюлей», обидится еще. Но подземелье в ответ молчало. В коробке, как назло, осталась все одна спичка. Федор решил ее сэкономить. Присел на четвереньки, привалился спиной к влажной стене, стал ждать.

Прошло минут двадцать, прежде чем в кромешной темноте послышались осторожные шаги, которые вскоре стихли.

И вдруг где-то рядом закричали: «Нет, я тебя, сволочь, все же посажу, ты у меня узнаешь, как воровать картошку у свиноматок! Нальется с утра водкой и ходит, как бегемот. Валерьянкой опохмеляться надо!»

Какая картошка, какая валерьянка, ужаснулся Федор, не брал я никакой картошки. И, вообще, кто это там, Пилюля? С ума сошел, что ли?

Арбузов осторожно пошел на искаженный до неузнаваемости бетонными катакомбами голос. Пройдя метров двадцать, и во что-то упершись, остановился. Лейтенант должно быть, кому же еще? И он громко, как на утренней проверке, крикнул:

– Это я, Пилюля! Идите сюда!

Опять чекиста «Пилюлей» назвал, – сразу же прикусил губу агент и в туже секунду, возле его ног что-то вспорхнуло огромной птицей, неприлично выругалось и, кряхтя, понеслось к выходу.

Федор машинально бросился за невидимым, топающим и охающим объектом.

Уже в дверном проеме хранилища, на фоне полной луны, он разглядел силуэт…. боже сохрани, эту фигуру он узнал бы из миллиона, фигуру командира полка! Полковник торопливо заправлял в брюки все, что на нем было надето сверху, в том числе и шинель.

Кого-кого, а встретить здесь полковника Кожемяку Федор никак не ожидал. Лицо агента пылало как раскаленная сковорода. Решил убраться как можно скорее от хранилища, но совершенно неожиданно для себя, вернулся внутрь бункера и зажег единственную спичку.

Недалеко от входа, возле облезлой стены парила куча человеческих экскрементов. Так командир по нужде сюда зашел, а я его вспугнул. Конечно, крикнул – «это я, Пилюля!», а полковник решил, что особист его за неприличным делом застал. И чего они все его боятся? Противный он, конечно, а так ничего. А ругался командир, видно, на прапора из хозвзвода. Все, хватит конспиративных встреч. Хорошо хоть без стрельбы обошлось.

Перебравшись через навозное море, Федор побежал в клуб смотреть фильм. Показывали «Щит и меч».

Как выяснилось позже, особист пришел в хранилище через час после Арбузова и прождал его там до отбоя. «Замерз, – по его выражению, – как цыпленок в холодильнике, чуть яйца ампутировать не пришлось».

На Федора лейтенант не ругался. Лишь зло оттопыривал нижнюю губу, обнажая зубы латиноамериканского капибара. Такую водосвинку Арбузов случайно обнаружил в энциклопедии, и она ему сразу кого-то напомнила. Выслушав рассказ о командире полка, лейтенант долго смеялся и даже похвалил Федора за осторожность.

Приближалась «Олимпиада – 80» и от особиста Пилюли рядовой Арбузов получил ответственное задание. Вместе с таким же агентом, как и он, Федора переодели в гражданскую одежду и высадили на Симферопольском шоссе. Одежда была старой, вонючей, мятой. Причем, детского размера. Но выбирать не приходилось. Из придорожных кустов они должны были в бинокль наблюдать за проезжающими в Москву иностранными автомобилями, записывать их номера в тетрадь и сообщать эти номера по рации следующему посту, который располагался километров через десять. Там в зарослях ивняка, крапиве и лопухах сидели зоркие соколы из соседнего полка. С другой же стороны, ближе к Серпухову им должны были сообщать о машинах приближающихся.

Как только первая высадка состоялась, и особист уехал, агенты, не сговариваясь, засунули рацию под осиновый пень и направились в ближайшую деревню за водкой. Бутылку «Зубровки» и полбутылки портвейна Федор с напарником по кличке Шланг выпили прямо возле магазина. Продавщица так перепугалась агентов, похожих на беглых каторжников, что готова была отдать все, что у нее есть. Но солдаты ограничились малым, взяли только то, на что хватило денег.

Открывая водку, ефрейтор Шлунгер, прослуживший на полгода больше Федора, учил его жизни:

– Выпивки, – говорил он неторопливо, взвешивая каждое слово, – нужно покупать всегда больше, чем сможешь выпить, чтобы потом не бегать снова. Все неприятности именно от недопития. Выпил мало, пошел за добавкой – попал в историю. Скандинавы, когда пьют дома, ключи выбрасывают в форточку.

После портвейна Шланг заявил, что в гробу он все видел и немедленно отправляется к женщинам. Ни слова больше не проронив, напарник остановил грузовик и попытался влезть в кабину. С первой попытки у него этого не получилось. Со второй тоже, а после с третьей он рухнул на землю и задергал конечностями.

Пришлось тащить Шлунгера к месту оперативной дислокации на себе.

Бережно уложив его в кустах, Федор, как человек хоть и пьяный, но ответственный, вернулся к Симферопольскому шоссе, включил рацию и услышал крики, обильно приправленные ненормативной лексикой.

– Семнадцатый, семнадцатый, на связи шестнадцатый! Отвечайте, когда нужно!

«Семнадцатый» – это был их со Шлангом позывной.

Мне не нужно, – ответил спокойно Федор, – Что вам-то надо?

– Ничего не надо, записывай, идиот. В вашем направлении движется светло-зеленая «Тойота» с номерным знаком «В556 Х09».

Как ни старался Федор, ни цифр, ни букв он запомнить не мог.

– Передай номер следующему посту, понял? – кричала рация.

– Понял.

– Повтори номер, козел.

– Чего?

– Ничего.

– Забыл.

– Еще раз…. Понял?

– Понял, – эхом отозвался Арбузов, но проклятые цифры опять испарились из головы. – Машина далеко спрашиваю?

– Проедет мимо вас минуты через три.

Прислонив к дереву послевоенную рацию, Федор отломил от березы ветвистый сук, пошел на дорогу.

Вскоре со стороны Серпухова действительно показалась какая-то зеленая машина. Агент с трудом поднялся по насыпи и березовой палкой, как шлагбаумом перегородил проезжую часть.

Автомобиль завизжал тормозами, остановился. Из салона на Федора, одетого в брезентовые штаны и темно-синий в полоску пиджак поверх грязной майки, глядели четыре пары испуганных глаз.

– Гутен таг! – сказал Федор, вспоминая все, за что еще недавно немка в школе ставила ему двойки. – Аллес гут, олимпиада, – и тут же с выражением прочитал запомнившийся ему новогодний стишок.

Когда закончил, перехватил подмышкой березовую палку, начал записывать на ладони номер машины. Буквы и цифры танцевали как пьяные. Дверь зеленой машины медленно открылась, и из нее вышел высокий поп в рясе.

– Тебе что надобно, отрок? – спросил священнослужитель на хорошем родном языке.

Федор, наконец, понял, что человек на иностранца не похож, что машина вовсе не «Тойота», а родные «Жигули». Поп приближался так решительно, что, казалось, хочет отвесить Арбузову подзатыльник. Вдруг он замер. Со стороны леса к дороге приближался, медленно перебирая негнущимися в коленях ногами, Шланг. За его плечами висела облезлая рация, из которой торчала трехметровая антенна. Шланг что-то бубнил в микрофон, а рация, включенная на полную громкость, издавала все известные и неизвестные народам мира ругательства.

– Отставить! – заорал Шланг. – В случае сопротивления, приказано открывать огонь на поражение!

– Так вы солдаты! – вдруг догадался батюшка, – Милые вы мои, беглых, не иначе, ловите?

– Беглых, – согласился Арбузов, – причем иностранцев.

– Понимаю.

Батюшка оказался бывшим майором-танкистом, которого уволили из армии по состоянию здоровья. Его печень уже не справлялась с алкоголем. Он дал Федору и Шлангу, видя их состояние, совет:

– Утром никогда не опохмеляйтесь водкой, она всегда требует продолжения. От пива сплошная тяжесть и хмарь. А лучше выпейте пузырек валерьянки. Через час будете как огурцы. Я ее всегда с собой вожу, хотя давно уже завязал.

Священник слазил в бардачок, сунул в карман Шланга два пузырька с темно-коричневой жидкостью, перекрестил напарников и «Жигули» помчались к Москве.

Федор вспомнил командира полка, который тогда в бункере тоже что-то кричал прапору из хозвзвода про валерьянку, но его нестройные мысли окончательно разбила рация, которая вновь начала неприлично ругаться.

К вечеру Федор и Шланг почти протрезвели и, заглянув в пустую тетрадку, поняли, что дело пахнет дисциплинарным батальоном. Они бросились к рации, вызвали «Шестнадцатого», и, сказав, что у них садятся батареи, попросили продиктовать все номера проезжавших за день иноземных автомобилей.

– Что, мужики, заквасили? – добродушно откликнулись с переднего поста. – Ладно, записывайте, но завтра наша очередь шары заливать.

Успокоившийся Федор, внес в столбики непривычных иностранных номеров еще несколько, выдуманных им самим – чтобы было больше. Правда, позже он еще раз убедился в верности любимой им поговорки – не надо как лучше, нужно как положено. Словом, в тот день вроде бы все обошлось.

Началось на следующий. Утром, не назначая никаких конспиративных встреч, Пилюгин вызвал Федора в свой штабной кабинет.

– Вот какое дело, – начал он, – по вашим записям получается, что вчера мимо вас в Москву проехало семьдесят восемь иностранных автомобилей. А вот восемнадцатый пост

зафиксировал только семьдесят пять. Куда же три машинки-то подевались? Наверху, – особист указал пальцем в портрет Дзержинского, – требуют объяснений.

– Капиталисты, что с них возьмешь, – пожал плечами Федор.

Особист резко встал, сладко потянулся всей своей долговязой, как у Железного Феликса фигурой. Затем, поправил роговые очки на хитром лице, сказал:

– Вот что, Федор, вы мне про капиталистов не заливате. Вы вчера с рядовым Шлунгером пьянствовали, как извозчики, вот и понаписали всякой ерунды. От вас до сих пор вином пахнет.

– Не вином, – обиделся Федор, – валерьянкой.

– Вы что валерьянкой лечились? Помилуйте, кто же этим средством здоровье поправляет?

Пилюля мягко, как кот подошел к подоконнику, взял белый фарфоровый чайник. Наполнил из него наполовину солдатскую алюминиевую кружку, протянул Федору.

– Это клюквенный морс с капустным рассолом. Мне это средство однокурсник подсказал. Верное дело, а вы – валерьянка.

Федор сделал глоток пахучей бурой жидкости и почувствовал, как на внутренности словно набросили теплую шаль.

– Да, на литр смеси – тридцать граммов чистого спирта, – пояснил особист, – но не больше! А теперь перейдем к делу, берите бумагу, пиши донесение.

– По поводу?

– По поводу того, что вчера, с разрешения ефрейтора Шлунгера, вы отлучились со своего оперативного поста на Симферопольском шоссе в ближайшую деревню за водой. И на опушке леса заметили, как по проселочной дороге, в сторону бункера с засекреченной аппаратурой связи, направляются три иномарки. Есть там бункер ЗАС, не переживайте. Возле бункера машины остановились и вышедшие из них люди стали проводить возле ЗАС какие-то измерения. Номера их автомобилей вы и переписали.

– А что дальше? – поинтересовался Федор.

– Хм. Будем искать. – Пилюгин вновь указал пальцем на висевший над столом портрет Феликса Эдмундовича.

Все остальные дни Федор со Шлунгером несли службу честно, на сухую.

Через неделю после закрытия олимпиады Арбузов получил по почте письмо. На листе было написано всего две строчки: «Завтра вы в наряде по столовой. После отбоя приходите в мой кабинет. В штаб заходите со стороны леса, чтобы никто не видел. Пилюгин».

Ну и конспиратор этот Пилюля, что-то еще придумал, вздохнул Федор.

В пятницу, после отбоя, в грязной телогрейке и в х/б образца сороковых годов, Арбузов проник в войсковой штаб и без стука просочился в кабинет особиста.

Внутри было темно, как под одеялом и Федор догадался, что особист специально плотно занавесил окна черными шторами. Сразу вспомнились заброшенное хранилище и спасавшийся бегством от позора командир полка.

– Здравствуйте, товарищ рядовой, – раздался незнакомый голос откуда-то с боку. Подойдите сюда, садитесь на стул.

Арбузов нащупал впереди спинку стула, осторожно сел. Не зная куда смотреть, как филин крутил головой во все стороны.

– Вы где живете? – поинтересовался голос.

– В казарме, – ответил Федор.

– Да нет, откуда родом?

– А, деревня Старые Миголощи тверской области.

– И как там у вас?

– Да как… Совхоз там у нас поблизости, на Волге. Ферма молочная. А еще быков полостнорогих выращиваем.

– Каких быков? – изумились из темноты. – Ну ладно, мы очень рады сотрудничеству с вами. Донесения ваши очень ценны. Особенно последнее, об иностранцах, что у секретного бункера проводили замеры. Мы уже установили их личности и сейчас ведем за ними наблюдение.

– Правда?! – искренне удивился Федор.

– Точно так, – прорезался уже Пилюля, – скоро возьмем.

– За важную информацию и проявленную бдительность, товарищ рядовой, – продолжал голос, – объявляю вам благодарность и вручаю ценный подарок.

Федор почувствовал, как в руки ему пихают какой-то сверток. Правда, в следующую секунду неизвестная личность этот сверток отдернула.

– Вы получите подарок перед демобилизацией, а то сами понимаете, возникнут у ваших товарищей ненужные вопросы.

Только за два дня до увольнения в запас Федор узнал от лейтенанта Пилюгина, получившего к тому времени капитанские погоны, что летом он разговаривал с генералом КГБ с Лубянки. Высокопоставленный чекист пожелал лично познакомиться с агентом Негоциантом, который «помог сорвать экстремистские планы западных разведслужб – вывести из строя засекреченную аппаратуру связи войск ПВО Московского военного округа, разоблачить их и тем самым сохранить и даже приумножить обороноспособность страны».

В свертке оказались абсолютно новые хромовые офицерские сапоги – высший шик по тем временам для дембеля. Пилюгин, от имени своего руководства, предложил Федору подать документы для поступления в Высшую школу КГБ. Федор вздохнул:

– Какой из меня контрразведчик? Вот хвосты быкам крутить, это да, мое.

– Ну, тогда бывай, – пожал ему руку Пилюля. – Может, еще увидимся.

Очнувшись от воспоминаний, бывший агент Негоциант еще раз протер тряпкой любимые армейские сапоги и вышел из тесной комнатушки во двор.

Ночная сказка

В лето 7204-го, от с.м., месяца ноября, в 29-й день. Москва, Заяузье.

В резных, румяных от брусничной краски палатах боярина Скоробоева пахло тяжело, несвеже: застоявшейся маринованной редькой, перекисшими солеными огурцами, вчерашним чесноком и похмельным духом. Всем этим насквозь пропитались и хоромы, и челядь.

Как ни старались дворовые девки, по указанию матушки Февронии Федоровны, выбить из палат отвратительный запах, как ни обкуривали комнаты, подвалы и кладовые всякими благовониями, как ни бросали раскаленные камни в медные тазы с мятной водой, ничего не получалось. Тяжелый аромат лез в ноздри из всех щелей и углов.

Что и говорить, уважал вино боярин Скоробоев. Особливо крепкую настойку на березовых сережках. Раньше с зельем Ерофей Захарович сильно не дружил, а привязался к нему после того, как стрельцы подняли на копья двоюродного брата Артамона. Страшно было, еле спасся, отсиделся, смешно сказать, в бочке с квашеной капустой. А так непременно бы краснокафтанники крест сорвали. И потом чуть ли не полгода дрожал под одеялом, ожидая людишек из приказа – а от чего ж тебя, Ерофейка, пожалели, можот ты с ними заодно был? Ох, времена.… Только и уберегала от разрыва сердца настойка.

И сыновья боярские Петр и Демьян как с цепи сорвались, не отставали от отца в дружбе с Бахусом. Пили и в обед, и в ужин, и так, между прочим. Днем предпочитали хлебные или фруктовые, очищенные много раз молоком, творогом и углями горячие вина. А перед сном, как и родич, требовали березовую настойку.

Наверху, в небольшой комнатенке, что находилась справа от крутой дубовой лестницы, на столе догорала в застывшей сальной лужице свеча. Она отчаянно мигала, готовая в любую минуту погаснуть. Следовало поменять. Или просто потушить. Кто их знает, угомонились они уже, али нет, надобно им свету, али теперь ничего не надобно?

Весь вчерашний вечер Ерофей Захарович слезно упрашивал важных гостей занять его светлицу и почивать на лебединых перинах. Да какое там! Уперлись дорогие гостюшки аки свиньи в корыто и все. Пришлось смириться, препроводить их в эту язвину, где обычно ночуют дворовые Мишка и Гришка.

Поднялся, осторожно заглянул в приоткрытую дверь. На широкой сосновой лавке постанывал, шевелился один из них. Высвободил из-под медвежьей шкуры ногу в валенке, пихнул того, что лежал рядом на полу.

– Эй, зайчатник, ну, черт бы тебя побрал, спишь что ли?

Ерофей Захарович отпрянул, подался назад, чуть не кувырнулся с лестницы, замер. Слышно было, как «зайчатник» подскочил, видимо, уставился своими мутными холопьими глазами на хозяина.

– Что, минхерц, звери избяные закусали?

– Если б звери, квасу дай. Из чего только Захарыч свое вино варит, из мочи? Во рту – пустыня. Пушки не льет, сукно не ткет, на кол прикажу посадить бездельника.

– И то дело, – откликнулся царский холоп.

Мелко перекрестившись, боярин Скоробоев попытался спуститься вниз, да ступень предательски скрипнула. Так и замер как подвешенный, с одной поднятой ногой. Господи, не дай пропасть.

– Сию минуту, Лексеевич.

По тени на стене боярин видел, как Алексашка, собачий сын, накинул на голое тело тулуп, отлепил от стола огарок, зашлепал босыми ногами к двери. На пороге остановился.

– А может, это… вина пользительней будет?

– Пропади, аспид! – крикнул царь. – Верно, маменька говорит – вы меня споить хотите, да со свету сжить. Всем вам головы посворачиваю, а сам в Кремле сяду, как брат Иван. Или к римскому Кесарю убегу. Что мне от вас проку?

Государь закашлялся. Под шумок Ерофей Захарович сбежал вниз, спрятался за печкой, затаился. Алексашка выскочил за дверь, у него тут же погас огарок. Спускаясь впотьмах по скользкой лестнице, Меншиков пару раз приложился о низкие перекладины. Взвыл.

– Где вы тут, стадники, куда все попрятались? – застучал он кулаком по перилам.

Дворовые людишки повылазили из щелей как клопы, засуетились, запалили свечи и лучины. Боярин скинул шубу, взъерошил волосы, мол, спал без просыпу, выступил вперед.

– Царь опохмела требует, – сказал Алексашка, взглянув на Скоробоева с некоторой усмешкой. Он не забыл времена, когда его и близко не подпускали к боярским дворам, а ныне тут ему кланялись. – Водки твоей березовой не надобно. Не приглянулась она Петру Алексеевичу У него от нее томление. Грозился тебя, дурака, на кол посадить. Вели собрать там чего: квасу что ли, огурцов. И щей кислых не забудь.

– Господи Иисусе! – вскинулся в ужасе боярин. – Сей же момент все будет. Сам поднесу. А ну, – замахал он руками на челядь, – торопливей у меня!

Вскоре во временную опочивальню царя Ерофей Захарович лично внес большой серебряный поднос с горшочком щей, маринованной стерляжьей головой, мисками, шкаликами, стеклянным графинчиком, крынкой кваса.

– Вот, Петр Алексеевич, лучшее похмелье, какое нам известно, – сказал он кланяясь.

– Чего припер-то? – поморщился Меншиков, окидывая горящим взглядом снедь. – Сказано тебе вина не надобно.

Боярин заводил из стороны в сторону бородой.

– Энто, Александр Данилович, старинное русское похмелье. – Скоробоев указал дрожащим пальцем на тарелку с каким-то месивом. – В мисочке тертые соленые огурчики с чесноком и луком, да холодными ломтиками баранины. А сверху уксусом яблочным полито. Мой родич гнозией сие величал, гнозия по-гречески – наука. Похмельной наукой не всякий владеет. А в графинчике – горячее хлебное вино, водочка чистейшая на хлебных корках настоянная. В крынке квас ржаной на грушевом отваре с хреном.

– Ты русского языка не разумеешь? – перебил боярина Меншиков. – Иди прочь с водкой.

– Ну, ну, осади, не очень-то! – прикрикнул на своего закадычного дружка царь Петр, – говори, Ерофей Захарович, чего там еще о верном похмелье знаешь, интересно.

Боярин почувствовал свободу, раскрепостился. Может и пронесет.

– Первым делом надобно испить два стаканчика, не более, хлебной водочки, а опосля сразу закусить гнозией. Всю скушать, без остатка. Потом ужо опрокинуть добрую кружку грушевого кваса с хреном, пожевать хрящей стерляжьих. И поспать малость. Егда проснешься,

голова сделается ясной, будто купола на Успенском соборе, – боярин несколько раз перекрестился.

– Не брешешь? – недоверчиво покосился на Скоробоева государь. Однако внутри стояла такая сушь, а ко всему прочему разболелась голова, что он был готов поверить в любое чудодейственное средство. – Ладно, садись ближе.

Меншиков подвинулся на лавке, первым взял ложку, попробовал гнозию.

– А ничего, минхерц, с утрева, по-моему, в самый раз.

Морщась, царь испил из золотого шкалика водку. В голове несколько прояснилось, боль стала отступать. Закусил гнозией. Захотелось выпить еще, но нельзя, у маменьки сегодня быть обещался и с Ромодановским говорить о посольстве в Европу. Стрельцы вроде присмирели, пора ехать, ума набираться по корабельному делу. Да и по другим наукам разным тоже. Гнозия, а ничего, оживляет. Надо бы с винопивством попридержаться. Вон уже мнихи ропщут, старец Авраамий из Андреевского монастыря послание прислал. Обвиняет меня, царя – батюшку в «потехах непотребных». Вообще-то и ему давно пора крысиную морду своротить, суется, куда не следует. Ладно, успею.

– А что, Захарыч, – спросил, ломая стерляжью голову Петр. – Иного доброго похмелья разве нет, кроме гнозии? Слышал Гришка Отрепьев с перепою лягушек живых жрал.

Ерофей Захарович хитро прищурился.

– На то он и самозванец, чтобы всякой нечистью кишки набивать. – Отер уголки губ, расселся на лавке, давая понять, что ему есть о чем рассказать царю.

Меньшиков без спросу налил себе, выпил, потом еще.

– Будет, – подпихнул его царь, продолжай, боярин.

Втянув ноздрями воздух, который показался Скоробоеву свежее утреннего ветра, помяв пальцы, унизанные тяжелыми перстнями, продолжил:

– В старину, еще при великом князе Василии Темном, знали весьма пользительное похмельное зелье. Сразу на ноги ставило, сколько с вечера не выпей. Называлось оное – заряйка, что у волжских народов означало зарю, рассвет, просветление после хмари. Сию заряйку один отшельник изготовил. Походило то зелье на вино шипучее, да не пьянило.

Обретался сей отшельник-старец на Волге, на малом островке княжества Тферского. И, якобы, был он когда-то боярином, да не простым, а сродственником великого князя. Егда Шемяка с Иваном Можайским пленили Василия Васильевича в Троицком монастыре, боярину удалось сбежать да затаиться в глухом месте, на речном острове.

– Да, – огладил густую бороду боярин Скоробоев, видя, что и царь и холоп Меншиков внимательно его слушают. – Великого князя Василия супостаты скрутили, потому как вся его стража вином упилась. Шемяка его в Москве и ослепил. Словом, пропили стрельцы светлые княжеские очи. Что ж, видно, и татарве не гулять бы долго по Руси, ежели бы не винопивствовали люто русские князья и не грызлись промеж собой с похмелья.

Речь Ерофея Захаровича проистекала мелодично, неспешно, будто былину сказывал. Царь разомлел и от гнозии и от рассказа.

– Сродственник Василия решил более в Москву не вертаться, а поселиться вдали от людей, в Тферьском княжестве, сделаться отшельником. А ко всему прочему изготовить зелье, которое могло бы избавить Великое княжество Московское от пьяного недуга. Нет, не от пития, уберечь. Это невозможно. «Руси есть веселие пити, не можем без того жити!» –

говорил князь Владимир Святославович. А спасти от жестокого похмелья, что и заставляет вновь браться за чарку.

– На кого, боярин, намекаешь? – грозно сверкнул очами Петр, наливая себе очередной стаканчик водки. – Думаешь, я забыл про твои делишки с Сонькой? Смотри у меня, все припомню.

Царь выпил, закусил гнозией, погрыз рыбью голову, подобрел.

– Ну, уж не трясись, сказывай дальше.

Боярин пожевал гнилыми зубами неосязаемую во рту крошку, продолжил:

– Так и убег княжеский клеврет от Шемяки, боясь смерти, уединился на Волге, вырыл себе нору под огромным дубом и стал выдумывать похмельное зелье. Одно лето, а то и два, может и десять копошился он на острове, не ведомо. Токмо эликсир все же изготовил.

Вначале испробовал его на деревенских смердах и те, все как один, поутру водкой, али чего они там в те времена пили, опохмеляться перестали. Тогда пустынник послал в Кремль великому государю Ивану III подарок – два бочонка снадобья с посланием – так, мол, и так, примите на пробу от божьего человека пару ведер чудодейственного эликсира. Оное, де, спасет русские души от нестерпимого пьянства и растления.

Похмелье средство понравилось государю Ивану Васильевичу. Он велел доставить отшельника ко двору.

«Вот, что, кудесник, – сказал царь, когда к нему привели нечесаного, пахнущего трясиной и мухоморами старца. – Ты зелье-то свое вари, да токмо для меня лично. И рецепта чудодейственного никому не открывай. Я намереваюсь монополию на питие ввести и кабаки государевы повсюду устроить. А что же энто будет, ежели мужики, да стрельцы, да все остальные людишки опохмеляться вином холодным и горячим перестанут? Никакого пополнения казне. Один убыток. Так что зелье твое хоть и верное, но для государства нашего страшнее татарского нашествия».

Загрустил старец, не на то он рассчитывал. Хотел спасти землю русскую от напасти дьявольской, а выходит, должен сидеть он в подвалах кремлевских и варить варево для царя Ивана, чтобы тот с перепою да ночей бурных в одиночку живот свой поправлял.

Не открывшись никому, что он в прошлом ближний боярин великого князя Василия Васильевича, что у него в Москве палаты и сродственники за Белым городом, старец взял да и сбежал обратно к себе на остров.

Не успел отшельник добраться до своей норы, как приплыли к нему на стругах смерды из окрестных деревень.

«Ты, – глаголят, – старец, вестимо, божий человек. И зелье твое волшебное, с перепою жуть как помогает. Однако не хотим мы его больше пить, не надобно. Никакого веселья от него душе человеческой нет. Что же энто выходит? Погулял с вечера, скажем, до смоляных глаз, а с рассвета на работу? Нет, мы так не желаем. Первейшее удовольствие – это поутру с похмелья вина горячего али меду крепкого испить, да потом день другой в запое покуражиться. Мы бы сами твоего зелья и не пили никогда, если б не бабы наши. Насильно в глотку вливают. Так что снадобья похмельного нам твоего не надобно, а ты сам не порть мужиков и уходи куда-нибудь отсюда прочь».

Но отшельник, уходить со своего насиженного места не собирался. Дураки мужики, – рассуждал он, счастья своего не зрят и не разумеют. Однако придет время, оценят меня на всей Святой Руси.

А между тем разгневался государь-самодержец Иван III, что кудесник седовласый сбежал от него и приказал, во что бы то ни стало вернуть пустынника в Кремль.

Примчались стрельцы на остров и увидели возле многовекового дуба распростертое тело старца с разрубленной головой. Кровища еще даже не запеклась. Кто-то совсем недавно отправил отшельника гулять по райскому саду.

На покойнике стрельцы обнаружили золотую иконку с каменьями и именным вензелем рода Налимовых. Не стали ее красть убивцы, видно, богобоязненными были. А в норе государевы люди нашли красные сафьяновые сапоги, кафтан, расшитый золотом и шелковые порты. Все говорило о принадлежности отшельника к именитому роду. В той же язвине хранились бочонки с ягодами и толченой бурой травой. На одной из кадок было написано: «ЗАРИАІКА».

На противоположном краю острова, в зарослях ивы стрельцы отыскали целую винокурню – чаны, кадки, сосуды малые и большие, деревянные черпалки и прочую утварь убиенного пустынника.

По причине смертоубийства отшельника, с пристрастием допросили всех окрестных мужиков и баб. Многих пытали на дыбе, рвали раскаленными клещами ребра и ноздри, да так ничего и не узнали. Смерды и свободные землепашцы не отрицали, что увещевали старца убраться с Волги куда подальше, потому как не ведали, что кудесник именитого рода, но в убийстве не сознавались.

Когда Иван III узнал, что пустынник ни кто иной, как его дальний сродственник, сменил гнев на милость. Однако велел похоронить Налимова не в родовой усыпальнице, а в Ильинском монастыре, что находился недалеко от того волжского острова.

Что же касается самого зелья, то пятеро мужиков, которые помогали боярину его варить, показали: в большой чан боярин засыпал измельченные корни папоротника и корни белых лилий. Туда же клал цветки боярышника, зеленую, не поспевшую бруснику и волчьи ягоды со шляпками молодых мухоморов. Все заливал кипящим лосиным молоком. Остужал, настаивал две седмицы, затем смешивал забродившее месиво с какой-то красной травой с квадратными ягодками, которую называл заряйкой. А вот где он эту травку брал, что она такое, где растет, мужикам старец не сказывал, а сами они нигде ее не встречали.

– Ну и как, – спросил Алексашка, освежая царский золотой стаканчик березовой настойкой, – так и не узнали, где Налимов собирал эту самую миглощу?

– Все обыскали в тех краях, Александр Данилович. Государь даже награду сулил в сто рублев самому расторопному, да так никто не нашел бурую траву. Пробовали варить зелье с другими травами, да только опосля такого эликсира, черти, прости господи, перед глазами прыгали.

Петр выплеснул из миски на пол оставшуюся гнозию, налил туда водки.

– Чудно, – молвил царь, – неужто акромя тебя о той заряйке теперь никто не ведает?

Ерофей Захарович пожал плечами. Прямого ответа не дал, решил досказать сказку.

– После смерти боярина Завойского-Налимова, на том острове развелось несметное количество змей, его стали считать проклятым, прозвали Василисковым. Будто бы раз в год, в день своей гибели, отшельник ходит по местным деревням и душит пьяных мужиков.

Изрядно захмелев, Петр Алексеевич сначала рубанул рукой воздух, потом похлопал боярина по плечу.

– Доброе твое похмельное месиво, – сказал царь Петр, – если б ты еще рецепт того зелья знал, о каком сказывал, полковником бы тебя пожаловал. Сейчас бы нам тот эликсир зело пригодился. Шведов, да крымских татар пора воевать, а стрельцы и ночью не просыхают. Хотя, может, и прав был царь Иван, ежели все пить перестанут, с чего казну пополнять? Торговлю надо с голландцами да немцами развивать. Ух, дармоеды, всех вас на дыбе поломаю, доберусь, ждите. И тебя, Алексашка, повешу, потому как вор.

Меншиков хорошо знал и чувствовал своего хозяина, угроз не испугался, даже бровью не повел.

– Стрельцам, конечно, вино пить не запретишь, минхерц, – заговорил задумчиво Александр Данилович. – Коль им каждый днесь вина не отпускать, взбунтуются, чем им еще заняться? А вот зелье похмельное иметь было бы при себе вельми полезно. Что, ежели отправить кого-нибудь на тот змеиный остров, поискать травку красную, али ты все придумал с испугу, Ерофей Захарович?

Гроза царская миновала, это понял и Скоробоев, потому расправил плечи, осмелел, даже сделал вид, что обиделся:

– Что мне предок сказывал, то я вам и поведал. Травку, вестимо, поискать можно, Петр Алексеевич, почему бы и нет, да только много лет минуло. Тогда-то найти не смогли, а уж теперь ее и подавно не сыщешь.

– Найти что хочешь можно, – сказал Меншиков, – было бы желание. Только сдается мне, сказки все это, боярин, не обессудь. Наливай.

В тот 29-й ноябрьский день ни царица Наталья, ни князь-кесарь Ромодановский не дождались у себя в селе Воробьево великого государя Петра Алексеевича.

Утро туманное

Со двора Федор вошел в пристройку, которая вела в комнату, соседствующую с той из которой он только что вышел. Прямой проход между ними давно заколотили, он уже и не помнил когда и зачем. Дверь комнаты тяжело вздрагивала, будто в нее стучали тараном. Однако березовый дрын, которым она была подперта, не давал двери открыться.

Арбузов откинул дубину ногой. Дверь приоткрылась, и в туже секунду рядом с ухом просвистело гигантское копыто. Федор не придал этому особого значения.

– Доброе утро, женолюб, – поздоровался он с быком по кличке Федор Иванович, – слышу клич не простого солдата, а настоящего воина!

Ответить на приветствие, должным образом Федор Иванович не мог, так как плотно упирался мордой в окно. С двух сторон его тяжело вздрагивающие бока сжимали стены узкой комнатушки. Бык поднял хвост и выпустил на любимые сапоги Федора мощную навозную струю.

Был Федор Иванович быком не простым, а наичистейших шотландских кровей. Его вывезли из Англии вместе с двенадцатью такими же полостнорогими, как значилось в документах, сородичами за год до развала Советского Союза. Каждый шотландец обошелся совхозу «Красный путь» в копеечку, а именно в 50 тысяч фунтов стерлингов за одну рогатую голову, но на что только не пойдешь ради выполнения государственной продовольственной программы. Заморские производители должны были значительно улучшить генофонд областного парнокопытного стада. Однако сразу же возникли непредвиденные трудности. Шотландцы категорически отказывались не только вступать в какие-либо контакты с местными телками, но даже глядеть в их сторону. В свою очередь невесты, то ли от страха, то ли от огорчения, почти перестали доиться.

Самым мощным, почти под тонну весом, был бык с белым звездообразным пятном на правом боку и красными завитушками на лбу. Ему построили специальный металлический вольер с воротами и чересчур грамотные совхозные доярки за этот «железный занавес» окрестили производителя Черчиллем.

Впрочем, на эту кличку шотландец не отзывался и, вообще, никого к себе не подпускал. Первым, кто нашел с Черчиллем общий язык, оказался тракторист-механик Федор Арбузов, да и то случайно.

После плотного обеда и незамысловатого аперитива в виде стакана самогонки, Арбузов прилег вздремнуть в прицепе своего трактора, из которого еще не выгрузили свежескошенную траву для иноземных производителей. Проснулся он под вечер от нестерпимой щекотки в носу. Проснулся и обомлел.

Страшный Черчилль лизал его ноздри, а также щеки, глаза и губы своим теплым и шершавым, похожим на мокрое вафельное полотенце, языком. Федор оцепенел, словно его окунули в гипсовый раствор и высушили.

Минут через пять, видя, что бык не проявляет агрессии, он несколько осмелел, потрогал рукой его окольцованное ухо. Черчилль принялся лизать и руку. Тогда Федор встал, обнял шотландца за шею, поцеловал в красные упругие кудри.

Эту сцену с другой стороны «железного занавеса» наблюдали изумленные доярки, а вместе с ними и директор совхоза товарищ Потопов.

Когда Федор вышел из вольера, он грозно спросил:

– Ты как туда, идиот, попал?

А попал в загон Федор, как выяснилось, очень просто.

Племенных быков, которых держали в разных вольерах, все очень боялись, поэтому завтрак и ужин им ссыпали прямо с прицепов, не открывая ворот загонов.

Поиски мирно спавшего после обеда Федора, в обязанности которого и входило ссыпать корм, продолжались часа полтора, а затем рабочие совхоза взяли и сами вывалили сено из прицепа трактора грозному Черчиллю. Среди клевера, лютиков и одуванчиков никто Федора и не заметил.

С тех пор Черчилль позволял заходить к себе в вольер только Федору, и вообще стал его четвероногим другом, чем-то вроде собаки.

Порой у Федора, как и у всех нормальных людей, случались запои, и он на работу не выходил. И тогда шотландец отказывался от приема пищи, тосковал, звал своего приятеля во всю мощь своей бычьей глотки. В такие дни местные буренки окончательно переставали давать молоко. Поэтому товарищ Потопов распорядился доставлять Федора из дома в совхоз, в каком бы состоянии тот не находился да еще давал опохмелиться.

Причем наливал не чистую водку, а наполовину разбавленную забродившим капустным рассолом. Утверждал, что с похмелья это первое дело.

Доярки смеялись, говорили, что Федор с Черчиллем близнецы-братья по разуму, а потому вскоре стали называть шотландского приятеля механика не Черчиллем, а Федором II или просто Федором Ивановичем, как и самого Арбузова.

Лишь только СССР приказал всем долго жить, в совхозе начали тощать не только доярки, но и шотландские быки. Скрещивать их было не с кем, да и незачем. Кормить тем более. Решили сдать на мясо. Позволить зарезать своего любимца Федор, разумеется, не мог.

Темной дождливой ночью Арбузов пришел на ферму и спокойно, так как сторожа давно разбежались, увел Федора Ивановича к себе в деревню. Спрятал он полостнорогого шотландца нигде, нибудь, а у себя в доме, в комнате покойной матушки.

Товарищ Потопов, хоть и не блистал интеллектом, все же быстро сообразил, что быка похитил Федор. В то время сельские коллективные хозяйства затрещали по швам по всей стране. Крестьяне и крестьянки тихо сидели по домам, пили бражку и с ужасом наблюдали, как быстро тонет, словно Титаник, Совдепия. Никто ее раньше особенно не любил, но теперь не понятно было, как жить дальше.

В один из обычных хмурых дней из Центра докатилась очередная волна нововведений – «развивать и поощрять фермерское движение». Быстро сориентировавшись, товарищ Потопов не стал угрожать Федору милицией, а предложил ему добровольно зарегистрироваться фермером и взять уже официально на откорм, причем безвозмездно, своего любимого быка. При этом пригрозил:

– Если откажешься, заведу дело по факту хищения госимущества в виде крупнорогатого шотландского производителя мужеского пола. А также в намерении с ним скотоложства.

В тюрьме тебя примут с распростертыми объятьями. Ха-ха, шучу. Почему бы тебе, Федор, и впрямь не заняться фермерством? Поможем всеми возможными средствами. На всю страну прославишься.

О славе Федор не думал, его очень напугало слово «скотоложство», он точно не знал что это такое, но смутно догадывался, а потому, быстро согласился. Вскоре «Красный путь», даже ни с кем не попрощавшись, растворился в мутных водах дикого капиталистического океана. Работники разбежались кто куда, не забыв прихватить с собой все движимое и недвижимое имущество совхоза. Разобрали по винтикам даже «железный занавес».

С тех пор Федор Арбузов безвылазно сидел в своей деревне «Старые Миголощи», которая находилась на реке Медведица, в десяти километрах от бывшего совхоза.

Он, как и чем мог, латал свой старый дом и жил надеждой на то, что рано или поздно его друг Федор Иванович принесет ему хорошую прибыль. В районной газете он несколько раз давал объявление: «Осеменяем телок любых кровей в целях улучшения породы за 10 у. е.»

Однако желающих осеменяться, почему-то не находилось.

В густонаселенной когда-то деревне «Старые Миголощи» теперь жили только пять человек. Он Федор Арбузов, егерь – лесник Валька Брусловский, мнивший себя потомком знаменитого генерала Брусилова, девяностолетняя баба Настя, бывший шофер директора совхоза Иннокентий Дрынов да еще, кажется, какой-то старик, которого давно никто не видел.

Летом в деревне появлялись москвичи, облюбовавшие к великому удивлению Федора эти дикие комариные места. Некоторые даже ставили собственные дома. С помощью мужиков-строителей из Новых Миголощ. Иногда к ним в помощники набивался Федор. Какую-никакую копейку, а получал. Но кормила его в первую очередь, конечно, река. На рынке в Кимрах золотозубые, низкозадые торговцы с Юга охотно брали оптом копченых лещей и жерехов по десять рублей за штуку.

Фермер вывел своего любимца во двор, привязал к большой ольхе. Дал сена, поставил ведро с водой, из которого сам прежде немало отпил.

С Медведицы еще наползал слабый туман. Было свежо и солнечно. Голова стала понемногу проясняться, даже улучшилось настроение, но общее томление в организме не ослабевало. Федор потрепал быка за красные завитушки и понял, что придется идти к леснику Вальке опохмеляться.

Деревенская дорога, как всегда в дождливые годы, превратилась в месиво. Шел по обочине, перешагивая через металлические обломки совхозных тракторов, комбайнов и сноповязалок. Справа по ходу, через два заброшенных дома сквозь утреннюю дымку вырисовывались контуру целого гусеничного трактора.

Когда-то он принадлежал еще одному деревенскому фермеру Александру Карловичу Евстигнееву. Да Александр Карлович окончательно спился. Однажды, когда нечем было опохмелиться, он завел свой трактор и поехал в район продавать его за ящик водки. Вернулся опять же на тракторе и совсем трезвый. Пошел на речку и утопился. Зачем, почему никто не знает, а трактор с тех пор так и стоит на дороге, как памятник Овсюкову.

Дом лесника Вальки, почти сплошь покрытый рубероидом, находился на краю деревни, так что идти до него, нужно было минут пятнадцать. Федор прибавил шагу. Еще издалека он увидел, что возле своего дома, на совесть срубленного еще до Февральской революции, стоит баба Настя. В чистом ситцевом платочке, в синем шелковом платье, а ни как всегда в телогрейке и прожженном переднике.

Праздник что ли сегодня какой церковный? – подумал Арбузов, а подойдя ближе спросил:

– Ты чего вырядилась, Ильинична как Нона Мордюкова, помирать, что ли собралась?

Старушка не обиделась на Арбузова.

– Здравствуй, Федор, хоть бы и помирать, тебе завидно, что ли?

– Чему ж тут завидовать? Это я так, пошутил неудачно, извини.

– Молодой ты еще, не понимаешь, что самое главное в жизни – это смерть. Самая сладкая, можно сказать, ягода. Люди боятся не смерти, а неизвестности.

– А ты, значит, неизвестности не боишься.

– Старая я чтобы чего-нибудь боятся. Впрочем, вот боюсь после себя ничего хорошего и доброго не оставить.

– Чего ты, баба Настя, с утра да за упокой, живи еще сто лет, кому мешаешь?

Баба Настя ничего не ответила.

– К Вальке опохмеляться идешь? – в свою очередь спросила она.

Федор кивнул.

– Зайди-ка лучше ко мне на пару минут. Я тебя сама опохмелю.

– В честь чегой-то? – изумился Федор, зная, что выпросить у бабки бутылку самогона все равно, что у черта кочергу. Не из-за жадности не давала. Пьяных не любила. Хотя, себе по праздникам позволяла.

– Пойдем, не бойся.

Старушка провела Федора через высокие, тщательно выметенные сени, посадила у окна в комнате в удобное деревянное кресло. Достала из шкафа графин с прозрачной самогонкой, граненый стакан, принесла сала, черного хлеба, соленых огурцов.

Подождала, пока Федор выпьет, затянула потуже узелок на ситцевом платочке, молча вышла из комнаты.

Вернулась с деревянным, обитым просеченным железом теремком. Было заметно, что он ровесник, если не старше самой хозяйки. Видимо, она хранила в нем нечто важное.

Вынув из ларчика какой-то желтый конверт, бабка протянула его Федору. Удивленный Арбузов достал из конверта сложенный вчетверо такой же желтый от времени листок, исписанный вдоль и поперек мелким, неровным почерком. На верху страницы прочитал:

«Лично тов. Сталину! Лично всем Великим вождям Советского государства! От участника финской войны, Великого сражения с гитлеровскими захватчиками в Великую Отечественную войну, орденоносца, заслуженного тракториста совхоза „Красный путь“ Глянцева Озналена Петровича».

Захмелевший от крепкого бабкиного самогона, Федор разомлел, неровные буквы расплывались на бумаге. Взглянул в выцветшие, но удивительно живые глаза бабы Насти.

– Какое-то письмо твоего мужа, – сообразил он. – Мне оно зачем?

– Читай дальше! – приказала так грозно старушка, что Федор испугался.

Письмо

3 ноября 1952-го года, Тверь, областной отдел МГБ.

Начальник областного управления Министерства государственной безопасности Семен Ильич Пилюгин сидел в своем просторном кабинете и вот уже минут пять разминал пальцами правую коленную чашечку. Боль, подступившая утром, все не проходила, а за последний час усилилась.

На душе было тяжело, противно. Полковник не связывал это с болью и пытался понять от чего. Однако к единому выводу прийти не мог.

То ли мокрый липкий снег, похожий на вату из зэковских телогреек, валивший за окном и тут же таявший на стеклах, раздражал пятидесятитрехлетнего Семена Ильича, то ли окончательно надоела некрасивая, толстая жена, с которой нельзя развестись, черт его знает. Вообще, многое полковнику надоело. Особенно враги народа – троцкисты, зиновьевцы, контрреволюционеры – предатели, изменники Родины, с которыми уже десятки лет Семен Ильич вел беспощадную борьбу.

И чего им неймется, часто думал Пилюгин, ведь все им дает советская власть, а они, как пауки ядовитые, тарантулы никак не угомонятся. Да, видно, суть такая у них паучья и ничего с собой поделать не могут. Обязательно надо ядом брызнуть, отравить жизнь окружающим. И несть этим паукам числа. Одних сжигаем революционным огнем, другие сразу на их место встают. И не сразу врага определишь. Умело маскируют свои паучьи лапы. Но полковника Пилюгина никто не проведет, всех насквозь, как рентгеном видит.

Полковник взял в руки письмо, которое утром адъютант положил ему с почтой. Бросил взгляд на неровные, мелкие строчки письма и сразу понял – пишет враг. И ладно бы ему написал, а то ведь Иосифу Виссарионовичу.

«Лично тов. Сталину! Лично всем Великим вождям Советского государства! От участника финской войны… как в высшей степени человек сознательный и преданный вам на веки вечные, а так же всему нашему рабоче-крестьянскому государству, не могу не сообщить, что мне случайно стало известно древнее средство от тяжелого похмелья…»

Ну, не паук а? По мнению этого проходимца, как его…. Озналена Глянцева, страной Советов управляют пьяницы и опустившиеся личности. Причем руководят такими же спившимися рабочими и крестьянами. Ага, вот дальше.

«Возьмите одну двадцатую часть ведра волчьих ягод, три фунта, два золотника молодых сушеных мухоморов…»

Вот ведь, вражина, волчьих ягод товарищу Сталину предлагает поесть. Открыто издевается. Террорист, ясное дело, белогвардейский недобиток.

Пилюгин взял красный карандаш и на верху, по диагонали, скорым почерком написал: «Срочно! Доставить в отдел для выяснения личности».

Дальнейшая судьба террориста, в общем-то, была ясна. В тверской области Пилюгин – господь бог. От него еще никто не уходил. А этот-то сам, можно сказать, попался. Совсем обнаглели. Ну, ничего, побеседуем с этим любителем сушеных мухоморов.

Теперь у полковника заныла левая коленка. Ему очень захотелось, чтобы сейчас пред ним оказался этот глупый террорист. Он бы дал волю чувствам. Первым делом – сдавить снизу пальцами глазные яблоки, завоет как волк, потом по копчику сапогом, а под нижнее ребро-карандаш. Пилюгин отчетливо представил себе картину истязания, и ему стало немного легче.

Скорее всего, этот отравитель-террорист действует не один. Хотя, может быть и просто идиот этот Ознален из деревни…. Старые Миголощи. Стоп!»

Семену Ильичу показалось, что за окном ударила молния и попала ему прямо в висок. Ознален Глянцев, уж не тот ли это Глянцев? Да как же не тот! Из деревни Старые Миголощи, сам же пишет. Значит, муж Анастасии Налимовой».

Памятью полковник обладал профессиональной и никогда ничего не забывал.

Давно это было, в марте восемнадцатого. От фабзавкома его послали старшим продотряда в Старые Миголощи. С какими-то китайцами. Тогда часто отправляли по деревням инородцев. Русские-то отказывались грабить своих. Пилюгин хоть и был русским, но согласился. Все равно терять было нечего. Один на свете, как сыч, ни кола, ни двора.

Налимовы имели самое крепкое хозяйство в Старых Миголощах. У них-то и надеялись фабзавкомовцы отобрать больше всего хлеба. А когда пришли на двор увидели возле дома молоденькую девушку. Была она в каком-то полубезумном состоянии. На вопросы не отвечала, и все бубнила что-то себе под нос. Спросили где хлеб, а она пошла в дом, легла на кровать и с головой накрылась одеялом.

Местные жители рассказали продотрядчикам, что два дня назад у девушки погибла вся семья. Мать, отец, братья и еще кто-то из ее родственников, на двух санях отправились по льду через Медведицу в церковь. Праздник, что ли какой был. А зима стояла теплая. Целое семейство под лед и провалилось. Никто не спасся.

Хлеб у сироты Налимовой все равно выгребли почти весь. Но Настя очень понравилась Семену Пилюгину. По поздней весне, опять в качестве старшего продотряда, он в другой раз приехал в Старые Миголощи. В дом Налимовой приказал своим архаровцам не заходить. Сам вечером постучал в окно. Девушка была уже в нормальном состоянии. Семен как мог, утешил сироту. Сначала накормил городскими сладостями, а потом, опрокинул на постель. Настя не сопротивлялась, более того, привязалась к нему.

По собственной воле приехала к Пилюгину в Тверь. И они, до отправки Семена на фронт, жили вместе в конфискованной у буржуев квартире на окраине города.

А потом… Что потом. После гражданской войны еще года три Пилюгин где-то бродил по белу свету, а когда вернулся в Россию и приехал в Тверь, в их квартире уже жили латыши. Помчался в Старые Миголощи и увидел возле избы Анастасии какого-то мужика.

Поздоровались. Мужик назвался Озналеном. Тогда часто брали себе подобные имена. Ознален – то есть осененный знаменем Ленина. Выяснилось, что он муж Насти. Живут они

вместе уже несколько лет. Фамилии сохранили свои, так захотела Настя. Она – Налимова, он – Глянцев. Обидно, конечно, сделалось, но особо уж Пилюгин переживать не стал.

Ждать Анастасия его, в общем-то, не обещала, а он и не любил ее никогда по-настоящему. Так, приехал, потому что к кому-то надо было приехать.

Настя ушла с бабами по ягоды. Семен назвался дальним ее родственником. Выпил с Озналеном самогонки, врезал от всей красноармейской души осененному знаменем Ленина по морде и уехал в город. На следующий день, со злости, что ли на весь мир, устроился на работу в ОГПУ.

Много воды с тех пор утекло. Не раз накрывало Семена с головой, но он всегда выплывал каким-то чудом на поверхность. Пилюгина не только не расстреляли в конце 30-х, как многих его коллег, но даже ни разу не объявляли серьезного взыскания.

Вот, значит, чем ты теперь, осененный знаменем, занимаешься, зло подумал полковник, до терроризма докатился. Вновь взял в руки письмо, продолжил читать.

«…Возьмите одну двадцатую часть ведра волчьих ягод, три фунта и два золотника молодых сушеных мухоморов, столько же толченых корней белой лилии и папоротника. Потом нарвите цветов и плодов боярышника, зеленую бруснику, и залейте все это кипящим лосиным молоком. После того, как это месиво забродит, в него нужно опустить траву „заряйку“ и настаивать две недели. Да вот вся проблема, мои глубокоуважаемые вожди, в этой травке. Где она растет, никто не знает. Но есть к этому замочку у меня ключик. Нужно разрыть могилу одного отшельника, которая находится где-то в бывшем Ильинском монастыре, сейчас там вроде как психбольница. По моим сведениям, именно этот отшельник и хранит в себе тайну, где и когда следует собирать травку заряйку. Доказательством сему является древний документ, который я нашел в подполе собственного дома. А потому прошу вас прислать ко мне академиков и профессоров исторических наук, чтобы мы вместе обнаружили в психбольнице место погребения отшельника и раскрыли эту важную для государства тайну. Меня одного в психиатрическую лечебницу, без особых полномочий, не пустят».

Полковник Пилюгин бросил на стол письмо.

Пустят тебя одного в психбольницу и без всяких полномочий, пустят, подумал он, гарантирую, только что же ты там у себя в подполе откопал, Ознален Петрович? Чего-то и в самом деле нашел.

В своей резолюции на письме несколько раз подчеркнул слово «срочно». Возможно, свихнулся человек, а, может, и нет. Дом Налимовых старый, чуть ли не до нашествия Наполеона ставили. А на его фундаменте, поди, еще до этого что-то было. Черт его знает, что там, в старой кладке отыскать можно. К тому же Налимовы – древний московский боярский род. Не понятно, как они вообще попали в такую глухомань. Эх, Настя, давно бы тебе на Соловках отдыхать со своей голубой кровью, если бы не полковник Пилюгин. Отводил я от тебя прицелы.

Колени ныли не переставая. Пилюгин сравнил себя с прокуратором Иудеи из романа Булгакова, у которого нестерпимо болела голова. Конфискованную у врага народа книгу полковник прочитал за одну ночь. После долго удивлялся, почему этого Булгакова в свое время не расстреляли, ведь явная антисоветчина. Прокуратору помог Христос, а кто поможет мне? Ознален Петрович…

Убрал письмо в нижний ящик стола. Затем написал что-то на чистом листе бумаги, кнопкой вызвал своего адъютанта капитана Евстигнеева. Когда тот, щелкнув каблуками, застыл перед столом начальника, Пилюгин протянул ему записку.

– Возьми несколько ребят и съезди по этому адресу. Доставишь ко мне некого гражданина Глянцева. Впрочем, нет, в управление не надо, лучше сразу в изолятор, в отдельную камеру. Этот Глянцев, возможно, руководитель одной из контрреволюционных террористических групп. С ним я лично буду работать. Разрешаю его немного попарить, но аккуратно, только для острастки, чтобы завтра утром он мог говорить, а главное соображать. В доме обыск проводить не нужно. Жену не трогать. Все ясно?

– Так точно!

Неожиданное явление

Наскоро пробежав глазами письмо, Федор вернул его Ильиничне.

– Никак в толк не возьму. Причем здесь волчьи ягоды, лосиное молоко, отшельник Иорадион, похмелье…

– Это черновик письма. Того самого, что Озналенчик отправил в 52-м году в Кремль. Мне он о нем ничего не говорил. Когда за Озналенчиком приехали, радовался как ребенок. Чекисты в штатском его в бока толкают, мол, пошевеливайся, а он все смеется и твердит как попугай, что теперь страна по-новому заживет. Видно, говорит, письмо мое лично до товарища Сталина дошло, а так как он человек необычайного ума, то сразу сообразил, какая от моей находки польза вырисовывается. Рубашку белую надел, пиджак новый, галстук в горошек повязал, как у Ленина. Поцеловал меня на прощание, и из дома, не оглядываясь, выскочил. Уже с берега крикнул: «Обо мне скоро в газетах напечатают. Гордиться своим мужем будешь!» Так и исчез, сердечный, навсегда, будто в Медведицу канул. На следующий день, в сарае, я случайно этот черновик нашла. И мне все стало ясно. Куда я только не писала запросы! И в районную прокуратуру, и в областную. Все тюрьмы, какие можно объездила. На Лубянку пыталась пробиться, не пустили. Пропал человек, и все.

Баба Настя перевела дух, налила себе в рюмку немного водки, пригубила.

– После 20-го съезда партии получаю я письмо на бланке. Так, мол, и так, ваш муж… и тому подобное, с ноября 1952-го, по март 1953-го г.г. содержался на принудительном лечении, по направлению МГБ СССР, в психиатрической клинике №…, скончался в марте 53-го года от сердечной недостаточности. Похоронен на местном кладбище в общей могиле. Словом, упекли моего муженька за то неосторожное письмо в дурдом, где он и помер.

– Да, времена были, – вздохнул разомлевший от самогонки Федор, – не то, что ныне – чего хочешь делай, куда хочешь иди. Хочешь, целое стадо держи, хочешь одного быка племенного. Свобода!

– Обожди ты со своим быком. Я ведь тебя пригласила не про глупости всякие говорить.

– Молчу, Ильинична, молчу.

– Озналенчика упекли именно в ту психбольницу, о которой он Сталину писал. Ну, в бывший Ильинский монастырь, где якобы отшельник похоронен.

– До Ильинской психушки отсюда рукой подать, вот и пристроили Озналена Петровича, что называется, по месту жительства.

Баба Настя подтянула узелок платка, пожевала губами:

– В те годы людей угоняли как можно дальше от родных краев, а тут на тебе – оказался возле дома. Если бы Озналенчик действительно был сумасшедшим, тогда понятно, а так…

– Прости, Анастасия Ильинична, – неожиданно назвал Арбузов соседку по имени отчеству, – он ведь мог тронуться умом и во время следствия.

– Да, послушаешь сейчас по телевизору, что в сталинских застенках творилось, сама умом тронешься. Хуже гестаповцев пытали. Свои же, своих! Но до ареста он был совершенно нормальным. И пил в меру, не то, что вы нехристи. Разве что, в последнее время глаза у него горели и впрямь как у помешанного. Часами в подполе копошился, камни какие-то ворочал. А однажды пропал на три дня. На охоту, говорит, пойду, а у самого ружья-то никогда не было. Не любил по живому стрелять. Вернулся весь грязный, с каким-то мешком. Сказал,

что на Гадючьем острове охотился. Боже упаси, да туда ни один православный носу не кажет. Какая там охота? Еще мой отец говорил, что место там пропащее, проклятое. Лишь после того, как я нашла черновик письма, поняла, от чего он был таким возбужденным. И еще. Во время ареста Озналенчика, обыска в доме не проводили, что меня удивило, я же опытная в этом деле была. А через три дня на моторке приплыл один из тех, кто его забирал. Кстати, чем-то на нашего Евстигнеева, царство ему небесное, был похож. Сунул мне под нос удостоверение, как будто я его лицо позабыла, и полез в подвал. Долго там копался, а потом стал расспрашивать – не видела ли я чего-нибудь необычного у мужа, сама не находила ли чего. И все время матерился. То по-нашему, по-русски, то вроде как по-немецки. Покойник Евстигнеев так же ругался. Чекист ничего не нашел. Хмурый он уехал, недовольный, даже до свиданья не сказал. И не мог он ничего найти. Потому что железный ящик с ларчиком я еще десятого дня на ближнем болоте схоронила.

– С ларчиком? Так это за ним чекист приезжал? – кивнул Федор на бабкин теремок.

– За тем, что в нем хранилось.

Анастасия Ильинична распахнула крышку теремка, достала из него продолговатый сверток. Начала не торопясь разворачивать. Сначала сняла восковую бумагу, затем фольгу. Арбузов увидел два свитка и широкий, ровный кусок бересты, исписанный бледно-желтыми чернилами. Первый свиток был из тонкой желтой кожи, другой из пергамента.

Аккуратно подцепив указательными пальцами края кожаной трубки, Анастасия положила ее перед Федором.

– Это завещание некого отшельника Иорадиона, составленное им в пятнадцатом веке. На какой-то особенной коже написана – сколько веков прошло, а кожа мягкая как шелк. Об этой найденной в подполе рукописи и сообщил Озналенчик Сталину. Только рукопись не разберешь без этих листов. Их Озналенчик спрятал в двойном дне железного короба из-под инструмента. Я о нем знала и на всякий случай проверила.

Ильинична разгладила на столе морщинистыми ладонями три пергаментные страницы. Надела очки и поднесла одну из них почти к самому носу.

– Кажется, здесь начало. Даже в очках уже почти не вижу. На этих трех листах, как я поняла, переписана кожаная грамота или завещание отшельника, но понятными, современными буквами и словами. Я как-то начала во всем этом разбираться, да махнула рукой. Не для моего ума это дело. Ты смышленый, в армии служил, поймешь.

На стене, прямо над головой бабы Насти, громко тикали ходики. Часы были сделаны в виде сказочной избушки. Внезапно в часах что-то щелкнуло, и из дверки выскочила кукушка, закуковала. Механическая птица не подавала голос уже лет двадцать, но каждый час своим появлением напоминала хозяйке о скоротечности времени.

Анастасия Ильинична достала из комода тряпочку, протерла циферблат.

– Мы с кукушечкой ровесницы, – вздохнула бабка, – мой батюшка Илья Филиппович, привез эти часы из города, когда мне было три месяца. С тех пор и тикают на этой стеночке. Ни разу не чинили. Однако скоро на покой и мне и подружке-кукшке. Об одном жалею – не дал мне бог детей, пустая я с рождения.

Промокнув кончиком ситцевого платка навернувшиеся слезы, бабка внимательно посмотрела на Федора.

– Этот дом, Федор Иванович, я на тебя переписала. Не было у меня более сердечной подруги, чем твоя мать, да и ты парень хороший, только пьешь много. Возьми эти грамотки и береги их пуще быка своего ненаглядного. Никому не отдавай. Может, когда и пригодятся. А теперь мне нужно отдохнуть. И не ходи к Вальке, ну его, не нравится он мне, лучше я тебе сама еще самогона налью.

Федор вышел на свежий воздух с большой обувной коробкой, в которую Ильинична положила теремок. На душе было легко и беззаботно. Бабкины рассказы хоть и заинтересовали фермерскую душу, но обдумывать их сейчас у него не было никакого желания.

К леснику Вальке Арбузов сразу не пошел, решил посидеть у реки.

Медведица уже не дышала туманом, а открытая до самого горизонта вода, мягко переливалась оловянными волнами на ярком утреннем солнце.

Парень прилег на берегу под березой, стал смотреть вдаль. Рядом, на кривой сосне громко выясняли отношения вороны, мешая погрузиться в сладостное и бездумное созерцание природы. Пришлось запустить в них камнем. Неугомонные птицы нехотя вспорхнули, полетели ругаться в другое место.

На противоположном берегу, за лесом, уже неделю киношники пытались запустить в небо большой красный воздушный шар, чтобы сверху снять на пленку эти удивительные, почти нетронутые цивилизацией места. Но у них чего-то не получалось. Шар на несколько минут поднимался над березово-сосновой чащей, а затем камнем падал вниз. Река далеко и отчетливо разносила непечатную брань съемочной группы, которая не хотела мириться с неудачей. Вот и сейчас, похожий на спелую помидорину шар, дергался над макушками деревьев и никак не желал подниматься выше.

А чуть правее шара, виднелись бескрестые, поросшие зеленью купола соборов Ильинского монастыря.

– Федор Иванович Арбузов? – раздался сзади до боли знакомый голос.

Приподнялся на локтях, повернул голову и увидел высокого седого мужчину в роговых очках, с тяжелыми диоптрическими линзами. Человек был в длинном светлом плаще, хотя уже второй день немилосердно пекло солнце. На плече незнакомца висела большая зеленая спортивная сумка.

– Не узнаете? – мужчина обошел Федора, ступил на прибрежный песок. Прозрачная речная водица намочила его замшевые штиблеты. – Моя фамилия Пилюгин. Владимир Семенович, бывший начальник особого отдела войсковой части, в которой вы служили. Я Пилюля, помните?

Новые обстоятельства

Еще не было шести утра, когда полковник Пилюгин вошел в одиночную камеру областного изолятора №3. Обычно в «тройке» содержали особо опасных государственных преступников, поэтому бывать здесь Семену Ильичу приходилось часто. Но сегодня, перешагнув порог этой бетонной, многоярусной клетки, он внимательно огляделся, будто попал сюда в первый раз.

Все показалось почему-то незнакомым – и выщербленные стены с белыми подтеками, и неструганные деревянные нары в камерах, и даже запах, тоже показался незнакомым. Этот запах, который не перепутаешь ни с чем, запах концентрированного человеческого пота и мертвых мышей. И еще что-то такое в нем неуловимое, приторное, чем-то похожее на аромат хозяйственного мыла. В совокупности, ароматы вызывали рвотные рефлексы и отчаяние.

Да, отчаяние может пахнуть, кивнул своим мыслям полковник Пилюгин. Отчаяние – спутник смерти, а смерть имеет вполне конкретный запах.

Семен Ильич вошел в одиночную камеру, где находился Ознален Глянцев, принял из рук сопровождавшего его старшины табуретку, устало опустился на нее. Глянцев лежал в углу камеры, свернувшись калачиком, тело его подрагивало. Полковник приложил кулак ко рту, закашлялся. Тяжело оторвав голову от бетонного пола, Ознален Петрович взглянул на Пилюгина.

Ребята Евстигнеева славно над ним поработали. Лицо заслуженного тракториста напоминало недожаренную котлету, из которой продолжал сочиться сок.

– Что за люди! – вздохнул полковник. – Ведь просил же аккуратно. Вы не поверите, товарищ Глянцев, но сотрудники этого скорбного заведения, совсем перестали слушаться начальство из областного управления безопасности, которое я в данный момент представляю. Творят, что хотят. Возомнили себя кастой неприкасаемых. В дружественной нам Индии эта каста, позвольте отметить, занимает низшее положение в социальной иерархии. Но это в Индии, до нее далеко. А что поделаешь? Приходится мириться. После войны мало кто хочет идти служить в тюрьмы, охранять врагов народа. Понятно, зазорно марать руки солдата – освободителя об отбросы советского общества. Но кому-то ведь нужно разгребать Авгиевы конюшни. Да, Гогенцоллерн в глотку, нужно. Конечно, Гераклу было проще, направил в стойло воды реки и все дерьмо, простите за выражение, разом смыло. А здесь день изо дня в нечистотах возишься.

Полковник МГБ почесал лоб, стал оттирать пальцами правую щеку, точно она у него была испачкана.

– По поводу нанесения вам телесных повреждений я проведу служебное расследование. – Полковник Пилюгин громыхнул кулаком по закрытой железной двери изолятора. С потолка посыпалась цементная крупа. – Виновные будут наказаны самым строгим образом. Да, Гогенцоллерн в глотку. Кстати, Ознален Петрович, а может быть, вы сами обо что-то ударились?

Тракторист испуганно, ничего не понимая, глядел на полковника красными от боли и слез немигающими глазами.

– Или, может быть, обидели чем-то охранников? Это только с виду они крепкие как скалы, а в душе ранимые и впечатлительные, как дети. Вы уж их простите, а я разберусь. Слово офицера. Говорить-то можете?

Глянцев покрутил взъерошенной головой, часто, с готовностью на все, закивал.

– Вот и хорошо! – обрадовался полковник. – Давайте побеседуем с вами откровенно. Я с детства не люблю загадок, недосказанностей, потому что они плоть от плоти обмана. А обманывать нехорошо, ведь верно? Да, Гогенцоллерн в глотку, вы ведь, Ознален Петрович, подозреваетесь в подготовке террористического акта в отношении руководителей нашей партии и государства. Причем не простого террористического акта, а особо изощренного, с применением отравляющих веществ.

Отчаянно замотав головой, Глянцев сквозь распухшие губы закричал:

– Нет! Нельзя так! Я никакого акта не готовил! Я безгранично предан делу партии и правительства. Я с именем Сталина до Варшавы дошел.

– А почему не до Берлина? – вскинул брови Пилюгин.

Внезапно обессилевший тракторист упал ничком на цементный пол и зарыдал.

– Эх, ха-ха, – Пилюгин подошел к Озналену Петровичу, помог ему подняться и сесть на нары. – Вот и вы о героическом прошлом. Да, вы герои. А мы кто, не бывшие на передовой и боровшиеся с внутренними врагами? Берлин-то взяли, но война все продолжается, только другая, классовая. Для вас теперь наступила мирная жизнь, а для нас вечный бой и покой нам только снится. Александр Блок, «На поле Куликовом». Но, каждому свое, так, кажется, писали на вратах концлагерей. До Варшавы вы дошли, прекрасно, но до чего вы докатились теперь? – полковник голоса не повышал, но в нем появились грозные нотки. – Как прикажете понимать ваше письмецо, отправленное лично товарищу Сталину и «всем великим вождям»? Вы предлагаете им набрать бочку волчьих ягод с мухоморами и все это съесть.

– Нет, это не так, поверьте, – всхлипнул несколько раз Глянцев, – я писал, что волчьи ягоды и мухоморы входят в древний рецепт от похмелья. Их нужно настаивать на лосином молоке с другими ягодами, а потом в полученную бражку добавить траву заряйку, но где эта заряйка растет, и что она собой представляет, я не знаю.

– А кто же знает? Ваши сообщники?

– У меня нет сообщников. Отшельник Иорадион знает. Его похоронили в шестнадцатом веке в Ильинском монастыре.

– Откуда такие сведения, Ознален Петрович? Вы же тракторист, а не академик Лысенко. Вам ночью часто кошмары снятся?

– Ничего мне не снится! – вдруг голос Глянцева окреп. – Я фундамент под домом правил и под старой каменной кладкой случайно нашел два старинных документа. В сундучке. Один на куске кожи, судя по всему самим отшельником написанный, другой, с четверть листа, на бересте.

– Так, так. Да, Гогенцоллерн в глотку. И что же в тех документах? Кстати, как вы их прочитали?! Грамотки-то, если они действительно древние, вероятно на церковнославянском языке составлены? Я один раз в музее такую грамоту видел, ни одного слова не разобрал.

– Верно. Намучился я с ними. Некоторые слова разобрать было возможно, а над иными целыми днями бился. Но однажды меня осенило. У жены сохранилась старинная библия. Я съездил в райцентр и в церкви купил библию на нашем, современном языке. Сопоставил тексты. Слова в них по-разному пишутся, а смысл один и тот же. Кроме того, купил в Москве старославянский словарь. Вот и расшифровал документы как мог.

– Вам бы не в совхозе работать, а на Лубянке, в седьмом отделе, – ухмыльнулся Семен Ильич. Но Глянцев пропустил его реплику мимо распухших от истязаний ушей.

– В кожаной грамотке отшельник или пустынник, как он себя называет, Иорадион вначале проклинает неуемных в питии винопивцев, от которых исходит дьявол, и которые творят великую печаль для всей Руси. Он же, Иорадион, милостью бога, якобы нашел избавление от пьяного греха. Но, мол, передать ему рецепт зелья некому, поэтому после смерти он унесет тайну с собой в могилу. Однако всякий догадливый, зная, где он погребен, сможет разгадать эту великую тайну. И далее: «Бо мретв аз не оживе, а глаголати главизна». То есть, из мертвых он не воскреснет, но главное скажет. После отшельник пишет про какого-то великого князя, который не внял разуму и затребовал для себя у бога слишком многого, забыв обо всей святой Руси:

«ПОЧТО ЕСИ БЕСОВСЬКОЕ ПОЗОРИСЧЕ И ПЛЯСАНИЕ ВОЗЛЮБИЛ И ПЬЯНСТВУ СОВОКУПИЛСЯ? КАКО ТЯ БОГ ПРОСЛАВИЛ СВОЕЯ МАТЕРИ БОГОРОДИЦЫ ОБРАЗОМ ЧОУДОТВОРНЫМ ПОЛОЖИ, НО К ПОЛ, ТЫ Ж СИЯ НИ ВО ЧТО ЕЗЬНОМУ МИРСКОМУ ЖИТИЮ СШЕЛ ЕСИ».

– У вас хорошая память.

– Не жалуюсь.

– В самом конце грамотки сказано про ягоды, мухоморы и корни, какие нужно взять и залить кипящим лосиным молоком. Во втором письме, что на коре нацарапано: «УПОКОЙ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, ДУШУ РАБА ТВОГО ПОУСТЫНИКА ИОРАДИОНА, УСОПЬШАГО В ЛЕТО 7012, АПРИЛЯ В 21, ПОГРИЕБЕНАГО В ИЛЬИНЬСКОЙ ОБИТЕЛИ». Это написано уже другой рукой. Да, забыл. В кожаной грамоте есть приписка: «ПОЯС ДИМИТРИЯ АСПИДА ПОЖРАЛА. ПОКЛОНИСЯ ИСТОУКАНУ». Я не понял, что это означает. А в самом низу, типа девиза: «ВРАТА АДОВСКИА СОКРОУШИВ».

– Где ларец? – выпрямился, словно натянутая струна полковник.

– Там же, в подполе моего дома, в сварном металлическом ящике.

Ночью полковник Пилюгин не сомкнул глаз. Он ворочался, как на гвоздях, точно пытался повторить подвиг Рахметова.

Что же делать с этим Глянцевым, мать его? Он меня не вспомнил, это факт, столько лет прошло, рассуждал начальник областного МГБ. Сумасшедшим Озналена Петровича не назовешь. Рассказывает складно. Не путается да такое, и придумать невозможно. Утверждает, что старые грамоты до сих пор лежат в подполе в ящике из-под инструментов. Надо бы, конечно, съездить в Старые Миголощи, забрать записки сумасшедшего пустынника, но самому нельзя. Анастасия непременно узнает. Бабы глупы, истеричны. Еще напишет донос в Москву. Связь, даже и бывшая с отпрыском дворянского рода, женой провокатора и террориста, грозит, по меньшей мере, лагерями. Нужно снова отправить в Старые Миголощи Сашу Евстигнеева. Одного. Вроде бы предан мне, не похож на стукача, завербованного генералом Егоровым. Очень уж предано смотрит в глаза. Недаром я отмазал его от фронта.

В сорок первом Семен Ильич взял к себе в адъютанты сына второго секретаря обкома. Карл Иванович Евстигнеев так обрадовался, что его Сашка не попадет на передовую, что партийного работника хватил удар.

Пилюгин с неприязнью грубо подвинул ногой храпящую супругу. Она уже часа два подряд издавала булькающие звуки с открытым ртом и мешала думать. Подействовало. Жена перевернулась на другой бок, на время затихла.

Афишировать это дело не стоит, продолжал думать полковник. Если старинные грамоты существуют, а в этом почти нет сомнения, не докладывать же о них начальству. Вдруг выяснится, что Глянцев все же душевнобольной. Тогда я сам буду выглядеть круглым идиотом. Но и медицинскую комиссию собирать рано. Нужно дождаться возвращения Евстигнеева. Только бы нашлись грамотки! И еще, пожалуй, самое важное. Отец народов не вечен да и мне не до второго пришествия в чекистах париться. Найдутся люди, которые выложат неплохие деньги за тайну Ильинского отшельника. Если дело пойдет по хорошо продуманному пути, свяжусь с Сыромятниковым. Он давно в Париже окопался. Встретится с Жаном Геде, прощупает его как следует. Профсоюзный лидер железнодорожников клянется в верности Сталину, но не исключено, что он двойной агент. Через него, думаю, не сложно будет выйти на западных покупателей. Лягушатники – пьяницы похлестче наших алкашей. Им похмельный рецепт позарез нужен.

Несмотря на свою патриотичность и политическую стойкость, Семен Ильич не раз думал о бегстве на Запад. Нет, он не перестал верить в идеи Ленина-Сталина. Просто считал, что свою миссию по строительству коммунизма в отдельно взятой стране уже выполнил и теперь пора пожить для себя. От марксизма не убудет.

Только вот одна закавыка. Глянцев говорит, что Иорадион не написал, где растет трава заряйка – основной компонент похмельного снадобья. Из мертвых отшельник не воскреснет, но главное скажет. Где искать в Ильинском монастыре кости чертового пустынника? За четыре с половиной века они, наверное, уже в пыль превратились. И что Иорадион имел в виду, когда писал, что всякий разгадает его тайну, зная, где он похоронен? В зубах, что ли своих он чего спрятал? Или Глянцев что-то скрывает.

Полковник снова лягнул спящую жену. Та захрапела еще сильнее, зачавкала, повернулась к нему своим лицом, похожим на раздавленный помидор, обдала несвежим дыханием.

Много хороших мест на земле, вздохнул тяжело Семен Ильич, вот бы забраться на какой-нибудь тропический остров в синем океане как Робинзон Крузо и в ус не дуть. Ни тебе допросов, ни тебе врагов народа, ни заклятых друзей, Гогенцоллерн им в глотку. А что тогда делать с Глянцевым? Заводить дело по 58-й статье неразумно, держать в тюрьме тем более. Подождите, подождите, товарищ Пилюгин, а пустынник, где похоронен? В монастыре. А что сейчас там? Психиатрическая клиника. Вот туда-то Глянцева и следует определить. Причем, сам побежит, как миленький, и еще спасибо скажет. Ну, Семен Ильич, ты голова, похвалил сам себя полковник.

После планового дневного совещания Пилюгин вызвал к себе адъютанта Евстигнеева. Попросил съездить в Старые Миголощи, но с собой никого на этот раз не брать.

– Понимаешь, Александр, – вежливо без обычных приказных интонаций в голосе заговорил полковник, – необходимо проверить, что находится в подвале дома Глянцевых, а именно

в сварном железном ящике. По моим сведениям в нем хранятся опасные антигосударственные документы, полностью изобличающие врага народа Глянцева. Возможно и оружие. Словом, все, что найдешь, передашь лично мне в руки. И никому ни слова. Я потом объясню почему.

– А ордер на обыск? – спросил Евстигнеев.

– Объясни Анастасии… то есть жене Глянцева, что ты приехал не как официальное лицо, а по просьбе Озналена Петровича. За важными документами. Скажи, что с ним все в порядке, скоро будет дома. Ты смышленый, придумаешь что-нибудь. И повторяю – о своей поездке и о том, что найдешь, никому ни полслова.

Когда адъютант ушел, Семен Ильич велел привести в кабинет Глянцева.

– Долго я думал, Ознален Петрович, – сказал он ему, вежливо усадив на стул, – что мне с вами делать. Пути два. Либо дать делу широкий ход, а это статья по подготовке покушения на первых лиц государства, либо принудительное лечение в психоневрологической клинике. В первом случае – 25 лет где-нибудь на Магадане, во втором – смирительная рубашка. Выбирайте сами.

– Я абсолютно здоров, – насупился Глянцев, обкусывая ногти.

– Это утверждение сомнительно, Гогенцоллерн всем в глотку. Вы в издевательской форме порекомендовали товарищу Сталину отведать ядовитых ягод и мухоморов, причем ссылались на какие-то древние рукописи, якобы найденные вами в подполе собственного дома. Но при обыске мои люди там ничего не обнаружили.

Пилюгин не знал, с чем вернется Евстигнеев, но для себя уже все окончательно решил и потому теперь четко расставлял точки над «и».

– Разве станет нормальный человек писать подобное Иосифу Виссарионовичу? Нет, вы или скрытый враг или сумасшедший.

Глянцев облизал запекшиеся кровавыми бляхами губы. Он не мог понять, к чему клонит полковник, а тот продолжал развивать свою мысль:

– Предположим, Семен Ильич, вы действительно нашли уникальную грамоту некоего отшельника Иорадиона. И опять же предположим, что он действительно похоронен в бывшем Ильинском монастыре. Но, во-первых, каким образом его останки откроют, как вы выразились, тайну из тайн? А во-вторых, где их искать? Ну, а самое главное, можно ли серьезно воспринимать всю эту чушь? Древний похмельный рецепт – ерунда, да и только.

– Почему же ерунда, рецепт-то я же нашел, – сказал уверенно Глянцев. – Повторяю – я не враг народа и не сумасшедший. Не знаю, почему ваши люди в подполе не обнаружили железный ящик. Видно, плохо искали. Когда меня забирали, грамоты были в нем.

Глянцев с трудом сглотнул, высморкался в полу грязной рубашки.

– Вся округа знает, что когда-то на острове Гадючий жил какой-то старец. Этого острова все боятся, как огня, за миллион рублей никого туда ночью не затащишь. Как-то в тридцатом первом, выпили мы с мужиками сверх меры и Ванька Солопов из Знаменской артели, поспорил, что за пару бутылок водки запросто переночует на Гадючьем. Взял лодку и уехал. Ваньки больше никто никогда не видел, а лодку его нашли аж в Белом городке, за пятнадцать верст от острова.

– Прямо страсть Гогенцоллерная, – заулыбался полковник. – А вы сами, Ознален Петрович, никогда на Гадючий остров не заглядывали? Ну, скажем, после того, как нашли рукопись.

– Был я там, – ответил Глянцев после некоторой паузы.

– И нашли что-нибудь интересное?

– Нашел.

Полковник Пилюгин даже присвистнул.

– Говорите, раскрывайтесь.

– Кинжал серебряный в ножнах с разноцветными камнями. И пару старинных монет. На острове илистая почва. В ней вещи хорошо сохраняются.

– Так, так, – Семен Ильич вытер со лба пот, – чайку не желаете? Я сам завариваю, не доверяю своим помощникам, вечно у них бурда получается.

Поставив чайник на американскую электрическую плитку, полковник придвинул свой стул к Глянцеву.

– Как же вы кинжал нашли? Весь остров перекопали?

– Зачем весь? В дальней его части, за поляной, растет гигантский дуб. По виду ему не меньше тысячи лет, а все живой. Между корнями что-то вроде пещерки. Вот я и подумал, если отшельник, в самом деле, жил на острове, то непременно под этим дубом. Где же еще? Самое удобное место. Там же внутри я увидел вырезанную на стволе надпись, такую же, что и в грамоте:

«Врата адовские сокрушив». Взял я лопату и начал копать в пещере. Земля внутри мягкая, покладистая. Вскоре и откопал кинжал.

– Так взяли и откопали?

– Взял и откопал.

– А что вы про разноцветные камни говорили?

– Ножны этого кинжала в каких-то камнях, но сразу видно, в непростых. На солнце всеми огнями переливаются. С одной стороны – друг за другом, два прозрачных, как оконное стекло и три рубиновых, а с другой – через бороздку в виде змеи, два зеленых и три синих. Я кинжал только слегка из ножен вынул, боялся, что камни отлетят. На рукояти кинжала что-то по-старославянски выбито. Только я разбирать я не стал, потому что сильно перепугался.

– Чего же вы перепугались?

– Не знаю, все как-то один к одному. Кожаное письмо, береста, а тут еще и кинжал. У меня прямо так круги перед глазами и поплыли.

– И где же сейчас этот кинжал? – взволнованно спросил Пилюгин, представляя, как в эти минуты его адъютант Евстигнеев достает из железного сварного ящика драгоценную находку.

– Спрятал.

– Там же, в подполе? – сглотнул полковник.

– Нет. От Гадючьего острова по трясине можно перейти на соседний островок, совсем маленький. Этой тропки кроме меня, пожалуй, никто не знает. Я сам ее случайно обнаружил. На том островке растут три высоченные ольхи. Вот у крайней справа, если стоять лицом к Медведице я и закопал кинжал.

– Вы же знаете, гражданин Глянцев, что бывает за сокрытие сокровищ, найденных в земле?

– У меня и в мыслях не было что-то утаивать от государства. Я же честно написал письмо вождям и думал, что приедут ученые, и я им все отдам, в том числе и кинжал. А меня в тюрьму. Да еще и лицо испортили.

– Про кинжал с камнями вы в письме ничего не написали. Ладно, вот что, Глянцев, – полковник подошел к стене и бережно поправил портрет Иосифа Виссарионовича. На давно

закипевший чайник он внимания не обращал. – Мне нужно все еще раз обдумать, а вы пока возвращайтесь в камеру, отдохните. Больше вас никто пальцем не тронет, обещаю. И про наш разговор никому ни слова, даже намеком. Впрочем, вам и некому о нем рассказывать, но я предупредил вас на всякий случай. Поверьте, это в ваших же интересах. Если, конечно, не хотите получить двадцатипятилетний срок. Завтра мы продолжим беседу.

Глянцева увели, а Пилюгину ничего не оставалось делать, как ждать возвращения адъютанта Евстигнеева. Теперь полковник жалел, что отправил его в Старые Миголощи. Записки пустынника, конечно, хорошо, но и кинжал не мелочь.

К его величайшему облегчению полковника, адъютант вернулся ни с чем.

Пилюгин, узнав все подробности посещения Евстигнеевым Анастасии Налимовой, не стал задавать ему лишних вопросов. Горячо по-человечески поблагодарил, даже приобнял за плечи, и со спокойным сердцем уехал домой.

А на этаж выше, в захламленной подсобной комнате, продолжал запись портативный трофейный немецкий магнитофон. Провода от него, заканчивающиеся чувствительным микрофоном, тянулись к потолку кабинета Семена Ильича.

Магнитофон остановил капитан Евстигнеев. Отмотав пленку к началу, он начал внимательно прослушивать запись.

Всю ночь, как и предыдущую, полковник ворочался под боком у толстой жены, которая с вечера пыталась приставать к нему, но, получив грубый отпор, угомонилась. Пилюгину давно не хотелось рыхлого тела супруги. Перед его глазами в мягком сиреневом тумане раскачивался серебряный кинжал с десятью драгоценными камнями.

Ужин в саду

Если бы безоблачное небо над Медвецией свернулось в овчинку и упало в воду, Федор удивился бы меньше. После визита к Ильиничне он и так находился в каком-то изумленном состоянии, а тут на тебе – явление, достойное кисти Иванова.

Язык Арбузова одеревенел, и он не мог им пошевелить, чтобы хоть что-нибудь произнести. Федор лишь замычал, словно некормленый бык-производитель.

– Неужели позабыли меня, Федор Иванович? – войсковой контрразведчик Пилюгин опустил на траву спортивную зеленую сумку, сел рядом с Арбузовым. От него пахло крепким одеколоном и нечищеными зубами. – Славно мы поработали с вами в Олимпиаду! Вам еще, помнится, за усердие сапоги хромовые подарили?

Федору сделалось неловко. Он попытался подобрать под себя ноги, обутые в те самые сапоги, но от острого взгляда особиста ничего не ускользнуло.

– Вот они сапожки-то, те самые! – всплеснул руками Пилюгин. – У меня память, Федор Иванович, фотографическая. Ничего не забываю. Напрасно нынешние либералы поносят советскую легкую промышленность. Тому товару сносу не было. Сколько лет прошло, а сапоги все как новые. Да…. А мне после Олимпиады сразу капитана присвоили. Потом майора получил, так им и остался. Ну не смотрите вы на меня, пожалуйста, как на жабу с паровозными колесами. Не такой уж я страшный. Кстати, из органов я уволился уже несколько лет назад. А что прикажете, было делать? По всему округу началось повальное сокращение нашего брата, и я сам подал рапорт. Не стал ждать, пока выкинут, словно ненужную вещь. Нервы и честь офицерскую сберег. А некоторые мои коллеги даже стрелялись. Да.…Но я ни о чем не жалею. «Man kann nicht die Zeit verurteilen». Нельзя осуждать время, в котором живешь, Гете. Несмотря на свою относительность, время есть наиболее абсолютное из благ, потому как другого времени у нас не будет. Это слова тоже очень умного человека. Не помню какого. Впрочем, не важно.

Майор по-дружески опустил руку на плечо Арбузова.

– Что же вы, Федор Иванович, все молчите. Вероятно, считаете, что я поступил непатриотично, добровольно сняв погоны?

Федор не считал ничего. Оцепенение проходило, но медленно. Еще сводило некоторые мышцы лица и тела.

Неожиданный гость из прошлого протянул ему пачку дешевых отечественных папирос.

– Не желаете? А я, пожалуй, закурю. Видите, на какую отраву перешел, а раньше только зарубежные марки предпочитал. Бедность. А вы, я слышал, в порядке, фермерствуете, быков племенных выращиваете. Мне про вас в районе все рассказали. И что матушка ваша недавно померла, царство ей небесное, тоже знаю.

Пилюгин вдруг закрутил длинным, похожим на морковь носом. Втянул со свистом воздух, радостно замер, словно учуял рядом скрытого врага.

– Самогоночкой лечились? – довольный собственной проницательностью, спросил майор. – Не осуждаю, так как о вкусах не спорят, но по мне лучше с утрева пятьдесят граммов коньяка с двумя яичными желтками и ложкой растительного масла. Ха-ха! Мой хороший знакомый с похмелья мочу пьет. Да не свою, жены. Клянется, что помогает. Aber, das ist unernstlich, несерьезно. Найти бы такое волшебное, безалкогольное средство, чтобы сразу в чувство приводило! А, Федор Иванович? Принял зелье и свеж, как огурец. Говорят, в древности был такой эликсирчик и назывался он заряйка. Вы ничего о нем не слышали?

Не дождавшись ответа, особист внезапно рассмеялся. Его смех походил на собачий кашель. Пока Пилюгин прочищал горло и вытирал слезы, Федор соображал. Откуда Пилюля пронюхал про похмельное зелье? Или это совпадение? Ильинична ничего не говорила, что показывала черновик мужа кому-то еще. Да уж, весело, сначала кожаный свиток старца, а теперь Пилюгин собственной персоной. Многовато для одного утра.

Майор привел себя в порядок, извинился.

– Не обращайте внимания, Федор Иванович, я одну историю касательно эликсира припомнил. Когда я был еще маленьким, у нас возле дома татарин ножи точил. Приходил во двор с наждачным кругом рано, часов в семь и кричал: «Ножа точу, как коса будет! Ножниц точу, как бритва будет!». Попутно приторговывал всякой дрянью: пугачами свинцовыми, помадой, одеколоном и, что интересно, эликсирами. Причем от всего – и от сердца, и от слепоты, и от облысения. Мало кто верил в чудодейственную силу его снадобий, но иногда все же их покупали. И вот как-то наша соседка тетя Тамара приобрела у татарина эликсир для «настоящих мужчин». Влила мужу в грибной супчик. Ну, и любимому коту Гошке из его тарелки плеснула. Муженек, как всегда с аппетитом умял свою порцию. Кот Гоша тоже вылезал свое блюдце до блеска. А через минуту закатил глаза и рухнул, под стол. Соседка в крик. Скорая, милиция. Татарину заломили руки, потащили в околоток. И тут Барсик из подъезда выходит. Довольный, на солнышко щурится. Оказалось, мусульманин пузырьки перепутал. Вместо «капель любви», продал тете Тамаре сильное снотворное. Смешно?

История Арбузова не развеселила. Пять лет назад знакомые мужики из МТС тоже перепутали пузырьки. Вместо этилового выпили метиловый спирт. Шесть трупов, двое ослепли.

Не добившись от фермера перемен в настроении, Пилюля перешел к решительным действиям. Он подхватил Федора под мышки, поднял с земли.

– Ваш дом, кажется, вон за теми ивами? Так пойдемте, Федор Иванович, я, надеюсь, вы меня приглашаете? Коробочку свою не забудьте.

Опять не дождавшись никакого ответа, Пилюгин забросил на плечо зеленую спортивную сумку, сам взял Федоровскую картонную коробку, и улыбнулся той своей близорукой улыбкой, которая еще недавно приводила в шок полковых офицеров. Глаза же особиста не улыбались никогда.

Пока шли к дому, отставной майор молол всякую чепуху. Утверждал, например, что у коров всегда хороший аппетит оттого, что они не знают, что рано или поздно их пустят на колбасу. Федор не вникал в трескотню Пилюли.

Какого черта он приперся, как узнал, где я живу? Впрочем, для чекиста это не проблема. И все же.…Ладно, приехал, так приехал, значит, есть дело. Будет, о чем поговорить, чем заняться. А то совсем плесенью покрылся.

Расположились во дворе дома, под старым вязом. Федор любил этот уютный уголок, где лет десять назад поставил крепкий дубовый стол и вкопал две длинные лавки. Для Пилюгина он принес из маминой комнаты обитое красной материей, простенькое кресло. Все же гость.

Майор снял плащ, повесил на ветку. Очки убрал в передний карман сумки. Из нее же достал полбатона докторской колбасы и банку шпрот. Покопавшись, с самого дна сумки вынул пузатую бутылку пятизвездочного армянского коньяка и плитку шоколада. Федор сходил

за стаканами, а по дороге нарвал на грядке огурцов. Их сарая прихватил жирного копченого леща.

Выпили молча, словно старые друзья, которым есть о чем вместе помолчать.

После второго стакана Пилюгин раскраснелся, блаженно откинулся на спинку кресла.

– Все! Никуда больше отсюда не пойду. – Владимир Семенович зажмурился, вытянул под столом длинные, худосочные ноги. Закурил. Пустил несколько вращающихся колечек, вдруг спохватился. Снял тяжелые, остромысые ботинки, синие носки, бросил все под дерево.

Оставшись босиком, интенсивно задвигал опревшими пальцами. Арбузов невольно принюхался, но ничего не почувствовал.

– Хорошие у вас места, Федор Иванович, – сказал майор, обводя окрестности прищуренным взглядом. – Всю жизнь мечтал жить в глуши, один, на каком-нибудь необитаемом острове, как Робинзон Крузо. Роман Дефо считается детской книгой, но я его регулярно перечитываю. В нем великая философия. Человек самое одинокое существо на земле, потому что эгоистичен до последней своей молекулы. Хуже леопарда. Например, мы только думаем, что если кого-то любим, то делаем тому благо. На самом деле мы пожираем энергетику другого мира, иной галактики. Для того, чтобы наша вселенная под названием «я» постоянно расширялась и крепла.

– Вы зачем приехали? – неожиданно для самого себя грубо спросил Федор.

Владимир Семенович не удивился вопросу, потому что, конечно, ждал его. Прикурил новую сигарету об окурок, разломил его пополам, затушил о фильтр, обсыпав бежевые хлопковые слаксы тлеющим пеплом.

– Мне нужна ваша помощь, Федор Иванович, – особист разлил остатки коньяка по стаканам. – Вы в округе всех и вся знаете, поэтому мне без вас не обойтись. Оторву вас на время от фермерского хозяйства. Не бесплатно. Если вы согласитесь, разумеется.

Майор запустил руку во внутренний карман вельветового пиджака. Федор подумал, что он достанет кошелек, но в руках Пилюли оказалась расческа. Он поправил редкие льняные волосы на макушке, продул гребенку, из которой полетела крупная перхоть, вопросительно посмотрел на Арбузова.

Парень лишь махнул рукой, вздохнул:

– Какое, к дьяволу, фермерское хозяйство. Не видите разве, что творится? Разруха, почище коллективизации. Так для чего я вам понадобился?

– Давай на «ты», Федор, ладно? Все же служили в одном полку, одним делом занимались. И разница в годах у нас не такая уж большая. А через сто лет ее и вовсе незаметно будет.

Кивнув, Федор взял за горлышко бутылку, с сожалением посмотрел на почти пустое дно. Особист понимающе кивнул, вытащил из спортивной сумки еще одну бутылку «армянского».

– Я сейчас расскажу тебе одну историю, только, пожалуйста, не перебивай. Она может показаться невероятной, но в ней все правда. И, главное, не подумай, что я… не в своем уме.

– Ничего, у нас психушка рядом, есть куда обратиться, – впервые за это утро улыбнулся Арбузов.

– Да, да психушка. – Владимир Семенович задумчиво выпустил струйку дыма в свесившегося с ветки на тонком канатике паука. – Итак, слушай.

В пятидесятых годах мой отец был начальником областного управления МГБ. Сразу после смерти Сталина его арестовали и дали пятнадцать лет. Теперь неважно за что. Отец отсидел от звонка до звонка. Он не попал ни под одну амнистию – ни после расстрела Берии, ни с приходом к власти Брежнева. Вышел из тюрьмы (сидел он именно в тюрьме, а не в лагере) совершенно раздавленным, потерянным человеком. Сначала не видно было никаких признаков психического расстройства, но со временем, особенно после того как начал крепко выпивать, стал рассказывать про какого-то отшельника Иорадиона с Гадючьего острова. Просил положить его в Ильинскую психиатрическую больницу и говорил, что он подобно Графу Монтекристо, сказочно богат. Мы с матерью к отцовским приступам относились с пониманием – пятнадцать лет в советской тюрьме – не шутка. Хотели даже положить в больницу, но все не решались. Приблизительно, раз в две недели вызывали из районной поликлиники знакомого врача, и он за деньги делал отцу успокаивающие уколы.

После армии, я решил поступать на журфак. Но однажды вечером, за неделю до экзаменов, раздался телефонный звонок. Приятный мужской голос представился полковником КГБ и предложил мне подать документы в Высшую школу Комитета государственной безопасности.

Отец, узнав об этом звонке, так разнервничался, что у него прихватило сердце, пришлось вызвать скорую помощь. Утром полковник снова позвонил. Я сказал, что с детства мечтал стать журналистом и работать в КГБ не имею никакого желания. Тогда неизвестный мужчина в приказном порядке велел приехать мне на Лубянку.

Со мной беседовал некий полковник Евстигнеев. Он долго меня уговаривал, а потом неожиданно спросил: «Вы хотите, чтобы у вашего отца случился еще один сердечный приступ? Могу устроить». Я так перепугался, что согласился на все. Евстигнеев строго настрого запретил мне говорить отцу, что я разговаривал именно с ним. Тогда я не понимал почему, но через много лет выяснилось, что когда-то Александр Карлович Евстигнеев служил у моего отца адъютантом и.…Ну дальше детали, я их опущу. Словом, так я стал армейским контрразведчиком.

Пилюгин встал из-за стола, подошел к вязу, обнял широкий ствол дерева, припал к нему лбом. Федор подумал, что особиста развезло, но тот вполне твердым языком продолжал:

– Как-то, в конце мая ко мне в полк приехал отец. Я очень удивился – обычно раз в две недели я сам навещал родителей. Отец увел меня в лес, и мы долго с ним говорили. Для меня тогда впервые стало ясно, что его рассказы об отшельнике Иорадионе – не фантазии больного человека. Скажи, Федор, живет или жила у вас в деревне некая Анастасия Ильинична Налимова?

– Я только что от нее, – спокойно ответил Федор, пытаясь понять, к чему ведет Пилюгин. – Жива, здорова. – Он хоть и захмелел от самогонно – коньячного коктейля в желудке, но голова оставалась на удивление ясной. Логический кубик начал выстраиваться в одно целое.

Оторвав зубами голову лещу, начал счищать с рыбины крупнозернистую, золотистую шкурку. Одна чешуйка отлетела, прилипла у Арбузова под глазом.

– Стало быть, это твой папа, майор, упрятал мужа Прасковьи Ильиничны в психиатрическую лечебницу? Тоже мечтал заполучить рецепт похмельного эликсира. Вот почему ты о заряйке на берегу заговорил. А я все думал, откуда тебе про нее известно.

Теперь пришло время удивиться Пилюгину.

Федор помнил, когда особист волновался, то постукивал себя ребром ладони по шее. Так Пилюля делал и сейчас.

Ко всему прочему, Владимир Семенович оскалил свои большие, словно у капибара, передние резцы. Он думал, что придется рассказывать Федору длинную историю о событиях пятьдесят третьего, а оказывается Арбузу многое известно.

– Wunderbar! – Пилюгин даже привстал. – Великолепно. Что же ты слышал про рецепт похмельного эликсира?

– Слышал, – ухмыльнулся фермер, – вон он у меня в обувной коробке лежит. В той самой, что ты с берега нес.

Майор задергался всем телом, затем замер в напряжении, как крокодил перед выпадом. Арбузов спокойно продолжал:

– Рецепт написан на кожаной грамоте. Там же в коробке письмо Глянцева, мужа бабы Насти, товарищу Сталину. Однако толку от рецепта и от письма мало. В них не сказано, где взять основной компонент эликсира, некую травку заряйку. Оттого эликсир так и называется – заряйка, то есть рассвет, заря. Об этом, кстати, Ознален Петрович Глянцев и писал в Кремль. Письмо это, видно, и попало к вашему…. то есть, твоему отцу. Возможно, и нет теперь этой травы заряйки вовсе. Росла когда-то, да вся высохла. И вообще, что она такое непонятно.

Ни слова не проронил Пилюля. После того как рассказ был закончен, неуклюже выбрался из-за стола, опрокинув наполненные стаканы, подошел к коробке, лежавшей под деревом. Опустился на четвереньки, постучал пальцами по картонным бокам. Перевел недоверчивый взгляд на Арбузова, словно спрашивая – неужели и в самом деле в сем бумажном чреве хранится ключ к разгадке великой тайны?

В тот самый момент, когда Пилюгин, собравшись с духом, хотел было раскрыть коробку, за сараем протяжно заревел шотландский производитель.

– Валька идет, – объяснил бычий рев Арбузов, – хозяин леса.

И действительно, в не открывающуюся до конца из-за разросшегося куста сирени калитку, протискивался местный лесник и он же егерь Валентин Данилович Брусловский, считавший себя потомком генерала Брусилова.

Валентин вовсе не походил на тех лесников, каких приходилось раньше видеть отставному майору. Одет он был не в мешковатую, маловыразительную форму установленного образца, а во вполне приличный джинсовый костюм, ладно сидевший на его стройной фигуре. Красивое, даже аристократическое лицо Брусловского никак не гармонировало с забытым богом тверским захолустьем. В его лице напрочь отсутствовала полудетская, полублаженная печать на лице, свойственная многим его коллегам. Двадцати пятилетний Валентин Данилович выглядел городским гулякой, случайно заблудившимся в этой глухомани.

Особиста сразу насторожил чересчур хитрый взгляд лесника. Он сам был хитер, поэтому с недоверием относился к людям, которые обладали теми же качествами.

Одной рукой Валька крепко прижимал к джинсовой куртке бутыль с красной прозрачной жидкостью, другой поправлял аккуратную, явно уложенную феном, шевелюру.

– Вот, значит, как, – наигранно обиженным голосом сказал лесник, заметив на столе бутылку коньяка. – Я к другу, как скорая помощь мчусь, а он без меня уже распивает. Добрый

день, – кивнул он Пилюгину, нависшему коршуном над обувной коробкой. Позвольте отрекомендоваться…

– Я тебя уже отрекомендовал, – поморщился Федор. – А это…

Пока Арбузов думал, как представить особиста, тот сам подошел к Брусловскому, протянул руку:

– Владимир Семенович Пилюгин, бывший однополчанин Федора Ивановича.

– Вот и славно! – обрадовался Валька, нетерпеливо открывая свою бутыль с красным содержимым. – Вы к нам порыбачить или поохотиться? Если на рыбалку, советую с утра сходить к Мельничному ручью, там, на манную кашу лещ хорошо берет. Или вы хотите сетью? Могу свою одолжить. Недорого. Здесь у берега не ставьте, коряги одни. Лучше на той стороне, в камышах, лодку дам. Там и судак, и окунь, и красноперка. Севрюга начала попадаться. Заводы встали, она и расплодилась. Я вчера севрюжку килограмма на полтора вытащил. Только с рыбнадзором осторожнее. Они новых сотрудников набрали, те голодные еще, лютуют. Днем сеть не проверяйте. А так вечерком, часов в девять, в самый раз. Впрочем, если поймают, скажите, что ко мне приехали. Договоримся.

– Я в рыбалке ничего не смыслю, – заулыбался майор. – Пожалуй, лишь пиявок наловлю. Просто так Федора навестить приехал. Заодно и воздухом подышать. Воздух у вас здесь великолепный.

– Одним воздухом пьян не будешь, – резонно заметил лесник, – принеси, Федор, еще стакан. Я, Владимир Семенович, вино свое делаю, изумительное вино. Из боярышника, малины и черники. Ну, там еще кое-какие ингредиенты добавляю. Например, травку одну особенную. Федор вчера пил и нахваливал. Советую.

Услышав про травку, Пилюгин нервно сглотнул. «И этот, кажется, что-то знает».

– От твоей бормотухи, я утром чуть не помер, – осадил друга Федор, выходя из дома с граненым стаканом.

– Какой бормотухи! – обиделся Валька. – Не вино, мечта аристократа, лекарственный напиток! Только попробуйте.

Брусловский наполнил из бутыли стакан, поднес его ко рту отставного майора. Владимир Семенович поморщился, но отвернуться не успел. Валька крепко обхватил рукой шею гостя, почти насильно влил в него все двести пятьдесят граммов красной жидкости.

Освободившись от объятий Брусловского, Владимир Семенович сплюнул в лопухи синей слюной, но возмущаться не стал. В его планы не входило сразу же портить отношения с аборигенами.

– Вот это по-нашему! – радостно закричал на всю деревню лесник, когда последняя капля аристократического напитка исчезла внутри майора. – Понравилось? Сейчас повторим.

Пилюгин замахал руками:

– Потом. После, ладно?

Минуты две майор не шевелился, прислушиваясь к тому, что творится в недрах его организма. А там что-то булькало и лягалось. Наконец, все успокоилось, а мозг, казалось, стал погружаться в теплую, не совсем прозрачную воду.

Через час Валька побежал за следующими литрами ягодного вина.

Пока его не было, Владимир Семенович несколько раз внимательно прочитал черновик письма Глянцева, просмотрел пергаментные страницы и бересту. Кожаное письмо трогать не стал – самое важное решил оставить на потом, когда никто не будет мешать. Он задвинул картонную коробку под стол, положил на нее свои голые ноги. Федор улегся спать под двумя вишнями.

А еще через полтора часа Пилюгин размазывал по щекам трупы комаров и уверял Федора с Валькой, что его папаша, хоть и «был сталинским прихвостнем и отъявленной сволочью», но за всю свою жизнь не расстрелял ни одного врага народа. Более того, он их спасал. Как, например, Озналена Петровича Глянцева, который совершенно определенно собирался отравить товарища Сталина, а вместе с ним Политбюро, ЦК и весь состав советского правительства.

– Как только рассветет, отправимся в психиатрическую лечебницу, – упорно твердил Владимир Семенович. – Мы выведем этого старого отшельника на чистую воду! Мы ему покажем страшный оскал тираннозавра! Он узнает у нас, как загадки загадывать. У тебя, Валька, лопаты есть?

– Есть.

– А у меня план монастыря есть. Я два года по архивам, как клоп ползал. Такие, знаешь, плужесткокрылые насекомые… с колюще-сосущими челюстями. Но я нашел. Отец мой не нашел, а я нашел. Усыпальница отшельника под храмом Владимирской божьей матери. А он знаешь кто Иорадион – то? Родственник, пращур, если можно так выразиться, вашей бабы Насти. Тоже Налимов. А она об этом ничего не знает. И никто не знает. Но сначала нужно кинжал найти. На Гадючьем острове. Под правой ольхой. У тебя, Валька, лопаты есть?

– Есть. У меня тоже родственники древние. Они с красными бандитами воевали. Брусилов, слышал? То-то.

– Как только рассветет, на Гадючий остров поплывем. Наливай.

Пилюгин открыл сумку, достал из нее какие-то схемы, планы. – Это Ильинский монастырь, – водил неуверенным пальцем по бумагам майор. – Перед войной в нем вытрезвитель для милиции был, а потом уже психушку сделали.

Владимир Семенович выволок из-под стола обувную коробку. Вывалил на него все содержимое. – Кто это там кричит?

– Это бык Федькин, Федор Иванович, пить просит. Я сейчас.

Валька отхлебнул из бутыли, пошел за сарай.

Вскоре из кустов малины высунулась здоровенная, облизывающаяся морда заморского производителя. Кучерявый бык с железным кольцом в носу недружелюбно посмотрел на Пилюгина, фыркнул. Валька похлопал его по бокам, подвел к ведру с водой.

– Он мирный, – сказал оцепеневшему от страха особисту Валька. – Своих не трогает, особенно выпивших.

Лесник опустился на лавку и тут же вместе с ней рухнул на землю.

– Ножки подгнили, – заржал Брусловский. Он, хотел, было подняться, но устало опустил голову на землю.

В глубину бриллиантовой россыпи Млечного пути, неудержимо понесся его раскатистый храп.

Такого звездного неба Пилюгин не видел никогда. Мимо застрявшего в Большой медведице Марса, стремительно пронесся спутник. В другой части небесной сферы – еще один. Он мчался от созвездия Стрельца к Жертвеннику. Вдруг одна из звездочек сорвалась с черного купола.

– Говорят, когда звезды падают, желание нужно загадывать, – прошептал заплетающимся языком Владимир Семенович. – Только бы на голову не упало. – Он тяжело выдохнул, закрыл глаза.

Утром контрразведчик Пилюгин очнулся от холода. Все тело ныло, а в голове шумело, словно в ванной, в которой забыли выключить кран.

Над столом нависали туман…. и наглая бычья морда, дожевывающая кусок картонной коробки.

На краю столешницы лежал пустой открытый ларец. Больше на столе не было ничего. Древние рукописи, черновики Глянцева, а так же монастырские схемы отставного майора явно пришлись по вкусу любезному другу Федора Арбузова.

– Нет!!! – закричал Владимир Семенович.

Ответственное поручение

Семен Ильич глотнул густого, пахнущего полынью чаю, облегченно вздохнул.

– Ну, вот теперь и поговорить можно, – он опустился на стул рядом с Озналеном Глянцевым, только что доставленным в его кабинет конвоиром, – представляете, два дня уже голова болит и не проходит. До этого колени ныли, теперь голова. А, главное, спиртного в рот ни капли не брал. Может быть, болит, потому что разные мысли мучают. Кстати, а чем вы сами по утрам опохмеляетесь?

На неожиданный вопрос полковника Глянцев только пожал плечами.

– Знаю, знаю, – засмеялся Пилюгин, не дождавшись ответа, – рассол капустный, квас, а то и рюмка другая водки. Угадал? Я вам, Ознален Петрович, откровенно скажу, что нет лучше средства, чем стакан пива на пол-литра кефира. Главное соблюсти пропорции. Да… Редкая гогенцоллеровщина! Нет лучше средства, – повторил полковник, вдруг глубоко задумавшись, – или все же есть, а, Ознален Петрович? Может, пустынник действительно придумал какой-то необыкновенный эликсир? Гогенцоллерн, цоллерн, цоллерн… Он, может, и правду написал в грамотке, а вот вы… Мои ребята провели у вас в доме еще один небольшой досмотр. Повторяю, небольшой. Можно сказать, дружеский, но никаких теремков в железном ящике и документов не нашли.

– Как же так?

– Вот и я задал такой же вопрос. Не может быть, чтобы в доме Озналена Петровича ничего интересного не нашлось. Он же не будет просто так чепуху сочинять. А ребята мои только руками разводят. Да… Гогенцоллерн маринованный. Не могла ли ваша жена манускрипты перепрятать?

– Клянусь вам, – задергался всем телом Глянцев, – она не знала о них ничего.

– Успокойтесь, не нужно высоких эмоций. Бог с ними с манускриптами, я вам на слово верю. Кстати, я проконсультировался с несколькими товарищами, видными учеными, профессорами и они мне подтвердили, что в некоторых летописях времен Ивана III действительно упоминается некое зелье, которое «*человече в разум воплощае, еже согрешивше в дни сем питием страстным*». Вот видите, я тоже по – старославянски заговорил. Ну, давайте по существу проблемы. Вы должны понять, что если начнутся официальные поиски могилы старца Иорадиона в Ильинском монастыре, ничего хорошего ни для вас, ни для меня не будет. Даже если найдут захоронение и расшифруют тайну его заряйки, никто вам спасибо не скажет. Уверяю, никто. Мало того, вас обязательно привлекут за то, что вы сразу не сообщили властям о находке ценнейшего серебряного кинжала с драгоценными камнями. А меня обвинят в буржуазном либерализме, так как я не завел на вас соответствующее дело. Сгорим мы с вами синим пламенем, и копоти не останется. У меня есть предложение – работать теперь вместе.

– Это как? – не понял Глянцев.

– А так. Будем вместе искать могилу старца Иорадиона. Вы и я. И не каких археологов, историков и тому подобных бездельников. Гогенцоллерн им в глотку. А найдем могилку, раскроем тайну отшельника, устраним все белые пятна в рукописях, тогда и преподнесем подарок нашему правительству. А может и лично товарищу Сталину. Скажем, нате вам на здоровье, пользуйтесь! А так, что мы будем попусту отвлекать от дел руководителей государства, у них и без нас забот хватает. Как предложение?

– Я на такое сотрудничество готов, – сразу согласился Глянцев, – когда вы меня отпустите, сегодня?

Полковник Пилюгин подлил себе в кружку кипятка из запаянного чайника, заложил посталински правую руку за лацкан пиджака.

– Если хотите, я вас прямо сейчас отпущу. Но только, как мы тогда попадем с вами на территорию Ильинской психоневрологической клиники?

– А какое это имеет…

– Самое прямое. Мы же не можем приехать с вами в лечебницу и попросить главврача дать нам возможность поискать на территории больницы могилу средневекового отшельника. Нас моментально зашнуруют в смирительные рубашки и там же, в психушке, навсегда и оставят. Понимаете?

Глянцев кивнул.

– Что же делать?

– Нам, а вернее вам придется попасть туда на вполне официальных основаниях.

– Это как, вы мне что, направление дадите?

– Хм. Можно сказать и так. Вы с сегодняшнего дня начнете симулировать какое-нибудь психическое заболевание. Например, паранойю. У нас в стране эта болезнь широко распространена и вам легко поверят.

– Параною, это что такое?

– Это когда вы, одержимые всякими бредовыми идеями пытаетесь навязать их другим. Вот, – полковник достал из ящика стола брошюру, – мне тут одна интересная книжица попалась. Ее изъяли у одного из врагов народа. «Очерки по психологии сексуальности» называется, некоего австрийского врача-психиатра Зигмунда Фрейда. Он утверждал, что всеми нашими поступками движет половой инстинкт. Словом, все начинается, грубо говоря, с конца.

– С какого конца? – удивился Глянцев.

– С мужского, разумеется. Впрочем, неважно. Говорите всем, что вы врач-психиатр Зигмунд Фрейд, что родились в 1856 году. Я вам эту брошюру на ночь дам. Память у вас хорошая. Запомните какие-нибудь словечки, выраженья. Тракторист, возомнивший себя Фрейдом! Это должно сильно подействовать на медицинскую комиссию.

– Я не совсем уловил, к чему устраивать этот балаган?

– Глянцев, вы вроде бы не похожи на жвачное животное, Гогенцоллерн вам в поджелудочную железу, а задаете дурацкие вопросы! Неужели непонятно? Комиссия признает вас душевнобольным и освободит от уголовной ответственности за подготовку теракта. Если забыли, я напомню, что в лучшем случае вам грозит двадцать пять лет магаданских лагерей.

Ознален Петрович хмуро сдвинул густые брови, сжал мозолистые кулаки.

– Итак, – увлеченно продолжал полковник, – комиссия вынесет заключение о вашей невменяемости и направит на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Я позабочусь, чтобы вы попали именно в Ильинскую клинику. Живете вы от нее недалеко, это весомый аргумент. У вас родственники больные все как один, а органы правопорядка должны быть гуманными. В больнице, вы продолжите изображать из себя Фрейда, но спокойно, без фанатизма, а то вас запрячут в изолятор и весь наш план рухнет. Когда окажетесь в Ильинской больнице, то есть в бывшем монастыре, начнете потихоньку вынюхивать – где, что находится. За тихими больными во время прогулок почти не наблюдают, поэтому у вас будет полная свобода действий. Первым делом разведаете, где монастырская усыпальница. Скорее всего, под главным собором или рядом. В усыпальнице теперь, вероятно, столовая для идиотов или склад.

Пока вы будете вести разведку, я попытаюсь раздобыть исторические документы, связанные с монастырем. Через пару месяцев я к вам приеду, скажем, для того чтобы уточнить некоторые детали по вашему бывшему делу, и мы обсудим дальнейший план действий. Но без моего ведома ничего не предпринимайте! Вы поняли?

Ознален Петрович минуту помолчал, потом обречено свесил голову.

– Жена будет волноваться, надо бы ее успокоить.

– На этот счет можете не беспокоиться. Я завтра же дам знать Анастасии Ильиничне, кажется, так зовут вашу супругу, что вы уехали на Дальний восток с ответственным поручением.

Полковник Пилюгин слова своего не сдержал, никакой весточки Анастасии не отправил ни на завтра, ни через месяц.

А через неделю Ознален Петрович Глянцев предстал перед медицинской комиссией МГБ. Все семь дней, по утверждению надзирателей, заключенный из третьей камеры «вел себя крайне неприлично и даже вызывающе». Обзывал их через дверь какими-то инвертированными педерастами, а сам валялся на нарах абсолютно голый и почти не переставая, мастурбировал.

Вертухаям строжайше запретили обращать внимание на спятившего тракториста. Полковник же Пилюгин был до крайней степени удивлен обнаружившимися в Глянцеве лицедейскими способностями. Кажется, дело пойдет, думал он. Но Семен Ильич ошибался, задуманный им план начал рушиться уже на первом этапе, на медкомиссии.

Глянцева привели под светлые очи врачей со связанными за спиной руками. Медики в белых халатах поверх военных мундиров с малиновыми петлицами, сидели за длинным столом, на краю которого стоял горшок с фиалками.

– Ну-с, – поправил пенсне главврач с ухоженной седой бородкой, похожий на члена Государственной Думы николаевских времен. – Как вы себя чувствуете, гражданин Глянцев?

Потупив взор, Ознален Петрович молчал, думая как лучше поступить – теперь же подойти к столу и начать жрать цветок или подождать, когда бородатый встанет, врезать ему коленом по репродуктивным органам, а потом уже приняться за цветок. Пока размышлял, слова сами напросились на язык:

– Инверсий желаете? – тихо спросил он. – Тогда руки развяжите. Инверсия, лишена характера исключительности. Сексуальный объект может принадлежать как одинаковому с ним, так и другому полу.

– Надо же, какие глубокие познания! – умилился доктор в пенсне, – И что же дальше, любезный?

Слово «любезный» отчего-то очень не понравилось Глянцеву. Ему представился длинный, липкий язык, который облизывает его с ног до головы. И от этого языка несет этой самой любезностью. Нет, смердит так, что аж сознание гаснет. Глянцева чуть не вырвало.

«Ну, я вам сейчас покажу любезного!»

– Гермафродит ты психосексуальный! – закричал он почему-то не на бородатого доктора, а на медбрата, сидевшего в стороне от стола. – Парвус – предатель! Аксельрод – урод!

Полупобеда ненадежна, враг непримирим, впереди западня! Долой Временное правительство Гучкова – Милюкова! Долой слияние меньшевиков с большевиками! Долой соглашателя Джугашвили! К позорному столбу его! А вы, товарищ, – вдруг участливо поинтересовался у главврача Глянцев, – часом не соглашатель?

Члены комиссии притихли как мыши в норке. Сидели не шелохнувшись.

А Ознален Петрович тем временем продолжал фарс:

– Я октябрьский переворот возглавлял, Красную армию создал, белых под Свияжском разбил, а вы, гниды, меня в ссылку? Заговор эпигонов!

Глянцев замолчал, с ужасом осознав, что перешел на другую, не согласованную с полковником Пилюгиным роль. Но переживал не долго. «Раз я ненормальный, то мне все можно. К тому же, останавливаться поздно. Только откуда это у меня? Ах, ну да, это вчера в соседней камере кричал настоящий враг народа. Или настоящий псих».

Но не только враг народа вложил в уста Глянцева вольнодумные мысли. Он иногда почитывал газеты, оставшиеся на чердаке его дома с революционных времен. Медики по-прежнему не шевелились. У некоторых из них лишь открылись рты.

– Можете убить мое тело, но дух останется неистребим! – принялся вновь вещать Глянцев. – Я навеки останусь в душах людей пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом и, следовательно, непримиримым атеистом. Я только об одном жалею, что подонка Джугашвили в восемнадцатом не кончил. За предательство идеалов социальной справедливости, за измену России!

Бородатый профессор первым сомкнул челюсть, подошел к Глянцеву. Наклонив голову, исподлобья спросил:

– Я так понимаю, вы Троцкий?

– Перо, Яновский, помещик Викентьев, Петр Петрович, он же Лев Давидович Троцкий.

– Отлично! – кивнул главврач, – а кто же, по-вашему, я?

– Аксельрод – урод, сволочь мелкобуржуазная. Нам с Мартовыми и Аксельродами не по пути. Нет лучше большевика, товарищи, чем Троцкий! Это слова Владимира Ильича, а он врать не будет. Кристальной души был человек. Умный, проницательный. Людей видел как под микроскоп. Но, признаться, тоже сволочь порядочная! Я бы даже сказал, гнида. В Париже подарил мне свои старые ботинки, а когда я в кровь сбил ими ноги, смеялся и радостно кричал: «Что, батенька, больно вам? Помучайтесь, помучайтесь! Я в этих колодках целый месяц страдал. Теперь ваша очередь. Больно, да? Это хорошо, ха, ха, ха»! Чуть не обмочился от радости, вождь херов. И после переворота все мечтал подставить меня. «Вы были председателем Петроградского Совета, вам теперь и быть председателем Совета народных комиссаров». Еле отмахался.

Ничего из вышеизложенного Глянцев не слышал от врага народа из соседней камеры и не читал в газетах. Откуда из него теперь поперли эти троцкистские бредни, он и сам не знал.

– Так, так, – пожевал губами председатель комиссии, – а что вы можете сказать про нашу эпоху? Эпоху развитого социализма. Как вы, товарищ Троцкий, оцениваете наше время?

– Ха. Тяжелое московское варварство глядит из бреши царь-колокола и жерла гигантской пушки. Все пропахло красной китовой икрой. Порвалась связь времен, зачем же я связать ее рожден?

После этой цитаты Глянцев сплюнул, и со всей дури врезал профессору ногой по промежности. Тот скрючился, завыл как дикая собака Динго, рухнул на бетонный пол.

Глянцев подбежал к членам медкомиссии, вцепился зубами в грудь толстенной тетке, видимо, секретарю. Та сначала глубоко завздыхала, затем начала кричать. Ее крик, от которого, кажется, треснул графин на столе, разнесся по всему скорбному заведению.

Тетка пыталась отодрать от себя озверевшего в конец Глянцева, но безуспешно. Ознален Петрович нащупал гнилыми зубами ее безразмерный лифчик, впился в него мертвой хваткой.

– Звезда Носаря – Хрусталева закатилась! Сейчас самый сильный человек в Совете это я! – рычал он, не разжимая зубов.

– О, о, о! – орала толстуха, – уберите от меня этого гада!

В эти секунды Глянцев ощущал необычный восторг. Именно сейчас он был абсолютно свободным и мог заставить воспринимать себя не как жертву, а как хищника. Ему так не хватало таких ощущений со времен войны! Ознален Петрович рвал, рвал пропахшие потом женские тряпки, пока, наконец, из них не вывались тяжелые венозные груди.

Остальные члены комиссии, как ни странно, глядели на происходящее спокойно, не вмешивались. То ли им тетку с профессором было не жалко, то ли просто давно не ходили в цирк.

– Будем лечить? – поинтересовался длинный, будто карандаш врач у лежавшего на полу в позе эмбриона профессора.

– Quantum satis, – простонал главврач. – Интересный экземпляр.

Он поднял голову и тут же обомлел еще больше, увидев нависающие над столом гигантские молочные железы толстухи.

В тот же день, под усиленным конвоем, Ознален Петровича Глянцева переправили в Ильинскую психиатрическую лечебницу. Причем без всяких стараний полковника Пилюгина.

Как буйно помешанного и чрезвычайно опасного в идеологическом плане больного, его поместили в особый изолятор ОБИ №21, где давно уже томились от безделья и скуки еще четверо сумасшедших.

Заговор

Лишь только над рекой-Смородинкой, как нередко ласково величали горожане свою несравненную по красоте Москву-реку, приподнялось помятое от недосыпа зимнее солнце, в Кремле наперебой зазвонили колокола. Вскоре из Фроловских ворот выехало несколько десятков саней в сопровождении большого отряда конных и пеших стрельцов.

Впереди великого посольства в форме урядника Преображенского полка, на сером в яблоках коне ехал сам Петр Алексеевич. Он что-то гневно кричал Меншикову, по-барски развалившемуся в просторном, крытом медвежьими шкурами, возке. Было видно, что Александр Данилович оправдывается, как-то нелепо размахивая руками, словно пытается отбиться от роя пчел. Царь съездил по хребтине Меншикова кнутом, помчался вперед отряда.

«Уехал, злой антихрист, – перекрестился, глядя в окошко Грановитой палаты, боярин Скоробоев. – Чтоб ты пропал в своих Голландиях. Слава богу, и думский дьяк Петька Возницын с ним».

В последнее время дьяк просто извел Ерофея Захаровича. Так и норовил при всех высмеять.

«Ты, – ржал Возницын, – секрет похмельного зелья знаешь, а сам целыми днями пьяный ходишь. Не пронимает оное тобя что ли? Так ты с нами поделись, может нам подмогнет».

Все бы ничего, лает пес на то он и собака. Да вот месяц назад приказал Петр Алексеевич быть боярину Скоробоеву в Немецкой слободе.

У Лефорта как всегда все пьяные, с девками пляшут, обнимаются по углам. Царь с перепою и не узнал Ерофея Захаровича, да его Меншиков под бок ткнул.

– Сам вижу, а ты мне еще потычь, потычь, стерлядь длинноногая! – разозлился государь. Но подруга Анна что-то шепнула ему на ухо, и царь растаял. Приложившись к пивной кружке, он встал из-за стола, отвесил Скоробоеву земной поклон. Музыка и разговоры стихли. Все понимали, что Петр Алексеевич ломает очередную комедию, и ждали ее продолжения. Царь же, выкатив глаза, поцеловал напуганного до смерти боярина в губы.

– Вот он наш избавитель! – закричал государь, хлопая Скоробоева по груди грубой, словно у мужика, ладонью. – Токмо ему ведомо, что простому смертному знать не положено. Да что простому, и мне тоже!

Гости кто с удивлением, кто с наглыми пьяными улыбками уставились на боярина.

– Нам, други, – Петр слегка оттолкнул от себя Скоробоева, – сидеть без сурьезного дела более нельзя. Еду скоро в Кенигсберг, Курляндию и Голландию договариваться о союзе против оттоманцев, пушки, да корабли новые покупать. Турка одолеем, не сомневаюсь. Но есть и еще один враг у России, его пушками да пищалями не напугаешь. Сие – винопивство непотребное. Когда дел нет – пей, сколько влезет. Но раз за великие начинания взялся – от Бахуса откажись. Так я глаголю?

– Истинно так, – первым отозвался Меншиков, подливая себе Рейнского.

– Мы ить как похмелье лечим? – продолжал речь государь. – Клин клином вышибаем, али примочки пьяные из водки на лоб ставим. А Ерофей Захарович знает бальзам, от которого опохмеляться не захошь и к делу нужному, аки младенец чистый вернешься. Имя тому зелью – заряйка.

– Помилуй, царь – батюшка, – взмолился Скоробоев, – Откуда же мне такое колдовство об заряйке вестимо? Я тебе давеча поведал дедовскую сказку.

– Отчего же сказку? Не стал бы твой пращур без дела языком трепать. Сего славного мужа сам Алексей Михайлович привечал – за ум и расторопность. Не твой ли дед с казацкими старшинами договорился, и те выдали разбойника Степку Разина?

– Как есть мой.

– То-то! А потому, Ерофей Захарович, велю тебе собираться в Кашинскую волость, в Ильинский монастырь. Там ведь мощи твоего отшельника обретаются? Вот и съезди, пока я с великим посольством в Европе буду ума разуму набираться. Поглаголь с чернецами, может чего и разнюхаешь. Загляни на остров Гадючий где пустынник варево варил. Все лучше, чем вместе с сестрицей Сонькой опротив меня стрельцов подговаривать.

– Что ты, Петр Алексеевич!

– А коли найдешь, боярин, похмельную грамоту да изготовишь зелье, в князья пожалую и в фельдмаршалы произведу.

«Унес черт собаку, – еще раз перекрестился Скоробоев. Что же теперь делать, не отправляться ить, в самом деле, в кашинскую глухомань, искать бельмо на коровьем заду? Засмеют на всю Москву, говном боярскую фамилию измажут, не отмоешься. Не шут я ему, аки Зотов. Никита – наипьянейший князь всех царевых Нептуновых и Марсовых потех, а я, значит, стану шутом наитрезвейшим. И бес меня дернул поведать собаке про отшельника Иорадиона. Нет, надобно теперь непременно к Софьюшке, в Новодевичий. Не даст пропасть матушка».

На другой день, чуть забрезжил свет, боярин приказал холопам запрягать сани. Возницу прогнал, сам натянул поводья и ветром помчался в Новодевичий монастырь.

Царевна приняла Скоробоева любезно, внимательно выслушала и, присев на узкую кровать, вздохнула:

– Всех, Петруша измучил, теперь и до тебя, Ерофей Захарович, добрался. Опозорить на целый свет Скоробоевых желает. А ить то вы, Скоробоевы, не единожды до смуты Романовых и Нарышкиных от царской опалы спасали. А не твой ли родич Новоторговый устав прописал и казну заметно пополнил? А не твой ли братец в стрелецкий мятеж за царицу Наталью пострадал?

– Так-то оно так. Да, подозревает меня Петр Алексеевич в измене. Вкупе с тобой.

– Ты я вижу, предан ему, как пес?

– Я тебе, матушка, предан. Ты моя государыня.

– Коли так, почто же ты прежде проведать меня не приезжал?

– Боялся, матушка, жуть как боялся.

– Все вы боитесь, а тем временем государство наше в тлен превращается.

– Видит бог так, видит бог в тлен, – мелко закрестился Скоробоев.

Царица поднялась с убранной красным бархатом кровати, взяла из малахитовой шкатулки пузырек с мускусом, стала втирать пахучую жидкость в виски.

– Ежели ты, боярин, со мной до гробовой доски, то окажу я тебе милость. Уберегу от позора. Но и ты должон поклясться на писании, что не учинишь мне измену. Есть токмо один путь избавления. Надобно опять стрельцов подымать, покуда братец по заграницам ездит. Отправляйся сей же час в Дмитров к Туму. Передашь воеводе от меня письмо. Да смотри, чтобы об оном не узнал никто.

Софья села за маленький ореховый столик, принялась быстро писать.

– Много людишек с собой не бери, дабы не донесли на тебя Шеину или Ромодановскому. Сам в письмо не лезь, все, что надобно будет, опосля узнаешь.

– Софья Алексеевна, да я…

– Помни, боярин, сейчас нам господь дает последнее испытание. Выдержим оное, в нашу честь колокола на Иване Великом зазвонят, а нет, с проклятьями будем низвергнуты. Но мы одержим викторию! Ничего, холодная луна в ночи теплее солнца.

С этими словами Софья достала из сундука увесистый серебряный кинжал, украшенный большими драгоценными камнями. Царица вынула из ножен клинок, положила на стол, а на ножнах слегка сдвинула вправо прозрачный светло зеленый аквамарин. В ножнах что-то щелкнуло, и в них отделилась внутренняя стенка. Софья спрятала в тайничок записку, вернула камень в прежнее положение.

– Сей кинжал Ивана Васильевича Грозного. Шляхтичи ему преподнесли опосля взятия Казани. Пригожая и пользительная вещица. У Тума шибко не засиживайся, – уже строже сказала Софья Алексеевна, – он любит медовухой с перцовой водкой угощать. А на утро от той смеси, сказывают, в голове пузыри поднимаются. Никакая твоя заряйка не поможет.

Софья задумчиво посмотрела в окно полутемной кельи. За белой каменной стеной монастыря двое мальчишек тянули на санях большую бочку. Видимо, с горячим сбитнем. От бочки, покрытой рогожной тряпкой, исходил густой пар.

– И что же за похмельное зелье такое придумал отшельник Иорадион? – вдруг переменила тему Софья. – Вон стрельцы, кладут себе в шапки свежий укроп, и никакого похмелья не ведают. Токмо, все одно денно и нощно пьяные. А батюшка наш покойный Алексей Михайлович взбитыми на меду перепелиными яйцами по утрам похмельную хворь прогонял. Да тоже вот, помню, через час другой рюмкой водки окончательно в чувство себя приводил. Нет никакого волшебного зелья от пьяного дела. И быть не может. Потому, как то господь бог вас, винопивцев, за сношения с дьяволом наказывает. К слову, Ерофей Захарович, а ты с Налимовыми об ихнем пращуре не глаголил? Может, им чего про заряйку вестимо?

– Вот и ты смеешься, матушка, а Налимовы мне и вовсе в глаза наплюют. И потом, их род при Иване IV почти весь сгинул да как-то они сызнова проросли.

– Сама ведаю, нынешние Налимовы от Махрушинского рода пошли. А Махрушины ко двору токмо при Федоре Иоанновиче прибились.

Софья протянула Ерофею Захаровичу ручку, давая понять, что аудиенция закончена.

– Никаких писем у Тума не бери. Пущай тебе токмо ответит – да или нет.

– Все уразумел, государыня.

Боярин Скоробоев приложился к царевниным пальчикам и удалился прочь.

Заждавшиеся хозяина кони всхрапнули, забили об лед крепкими копытами. Боярин не залез, запрыгнул по-молодому в сани, отходил всю тройку кнутом. Кони рванули с места, и Софья увидела в свое окошко, как они в одно мгновение смешались с тяжелой мартовской пургой.

Холодный нахальный ветер так и норовил забраться под высокий горностаевый воротник Скоробоева, проникнуть как можно глубже к телу, туда, где и без того леденил грудь клинок Ивана Грозного.

Не доехав до Охотничьих рядов, боярин повернул к реке Неглинке и там, в тихом месте остановил коней. Ему сделалось жарко, очень жарко. Казалось, вся шуба уже пропиталась

потом, только отжимай. Прежний восторг от встречи с царевной прошел, и теперь боярин понимал, что ожидал от Софьи совсем иной помощи. Правда, он и сам не знал какой, но то, что она предложила… Царь Петр, хоть и скалил зубы над боярином, но и не обижал. Сколько раз приезжал государь к нему на двор погулять, в баньке с дворовыми девками попариться. За то остальные люди перед Ерофеем Захаровичем шапки высокие ломали. Лестно.

«Обещался мою Варьку, кобылу перезревшую за сына боярина Захарьина отдать. Знатный род, ихний, царский. А тут на тебе, заговор, бунт. И я, Скоробоев, главное звено в цепи промеж бунтовщиков. А ежели у царевны не получится ни шиша? Кто ее нынче поддерживает, Голицыны, Долгорукие? Ага, щас, сидят по своим щелям, боятся бороды на свет божий высунуть. Донские казаки? Да что это за войско, одна рота Преображенского их к дьяволу на рога загонит. Ох, недаром Петр Алексеевич мне в Немецкой слободе про Стеньку Разина сказывал. Нельзя ехать к воеводе в Дмитров. Тут не токмо рваными ноздрями пахнет. Весь наш род царь Петр под корень изведет. Что ежели догнать посольство и все поведать государю? Токмо, что изначально скажешь, что к Софье на поклон ездил, на царя жаловаться? Худо».

Ерофей Захарович достал из-под шубы серебряный кинжал. На широкой рукояти прочел надпись: «*Видеть тамъ, гдъ тъмно, слышать тамъ, гдъ царитъ тишина*».

«Видеть, где темно, – прошептал боярин. – А ничего вокруг ныне не разберешь, кругом тьма-тьмущая. Однако с Сонькой якшаться не след. А ежели ее виктория будет, и тогда сладкой патоки вкусить не придется. Не простит она нам Скоробоевым то, что кричали вместе со всеми Петра с Иваном на царство. Ишь, как похмельным зельем заинтересовалась! Кладник Ивана Васильевича отыскать не может, так взамест кладника ей заряйку подавай. Не потребовала, так потребует, матушка, как пить дать, душу вынет».

Скоробоев провел пересохшим языком, по заиндевевшим усам. Выкопал из-под разъездных песцовых шкур штоф хлебного вина. Разболтал, выпил больше половины.

«Зелье им всем подавай! И чего они за него уцепились?»

Допив до дна, боярин швырнул бутылку в полынью. Давно ему не становилось так хорошо от вина как теперь. Ржаная водка разлилась мягкими горячими волнами по всем его жилам и неожиданно прогнала все страхи.

Ерофей Захарович вынул кинжал из ножен, а затем сдвинул в сторону светло-зеленый аквамарин. Выковырял пальцем царевнену записку. Хотел, было прочитать, но передумал.

«Знать ничего не знаю, и ведать не ведаю – так-то оно лучше будет».

Скомкал клочок бумаги, бросил его в проталину у берега. Быстрая речная вода, сначала покружила бумажный комочек между ледяных обломков, а затем утянула его с собой в черную пугающую глубину.

– Сие ладность, – вслух сказал боярин. – Пущай Сонька сама, ежели надобно, к Туму на поклон бежит. Да и кто такой Тум? Кур общипанный. Как есть кур.

Кинжал выбрасывать не стал, все же ценная, великолепная вещь. Решил схоронить где-нибудь подальше, может, когда и пригодится.

Развернул коней, помчался на Сретенку, в государев кабак. Расположился в углу возле печи, сгреб со стола на пол рукавом шубы всякую дрянь, потребовал водки с капустой.

Пил долго и тяжело. Потом так же тяжело плясал под дудки каких-то заезжих проходимцев, раздавал им деньги, а самому старому и слепому дудочнику подарил шапку.

Проснулся все за тем же столом, между пустым штофом и миской с горой квашеной капусты. Чуть поодаль лежал вынутый из ножен серебряный кинжал. В страхе схватил, спрятал под кафтан, огляделся. Людишек было мало да и те не обращали на него никакого внимания. Скоробоев опять приказал подать водки. К его столу подошел добротно одетый молодой человек, с виду порядочный горожанин.

– Емельян Арбузов, сын Никифоров, – представился парень.

– Ну, чего тебе? – боярин недовольно покосился на человека. – Водки надобно? На, пей.

– И сам преподнести могу. Эй, Тришка, ну-ка быстро клюквенной и редьки моченой, – крикнул он кабацкому мальчишке. – Ты, боярин, ножичком-то серебряным больше не размахивай, не ровен час, умыкнут. Ведь сам Иван Васильевич им дорожил.

Ерофей Захарович с удивлением поглядел на Емельяна.

– Откудова тебе, ящеру, про Ивана Васильевича вестимо?

– Не испепеляй взором. Али вообще про вчерашнее ничего не помнишь?

До самых кончиков волос похолодел боярин.

«Вот беда-то! Ладно, егда винопивствую дома и не ведаю поутру, что накануне творил. Попробуй, кто токмо неприятным словом обмолвиться. А в государевых кабаках блюсти себя надобно, то закон. И что за нелегкая меня в последнее время носит?»

– Ванька Кривой, послушав тебя вчерась, хотел ужо «слово и дело» кричать, да я его угомонил. Музыкантишкам кости пообломал, а целовальнику двугривенный подарил, чтобы молчал. Разумеешь что ли? Пойдем отсюда, боярин, по добру по здорову, в другом месте поговорим. Али не желаешь?

– Веди.

Голодные вороные кони в момент домчали Ерофея Захаровича и Емельяна Арбузова до боярского двора в Зарядье. Скоробоев рявкнул на домочадцев, которые принялись, было, причитать по поводу его ночного отсутствия. Приказал холопам немедленно растопить баню, принести туда, малиновой медовухи и соленых рыжиков.

Копченая рыбка

Валька Брусловский доплыл уже до середины реки, когда его застала гроза. Рваные, будто грязные комки ваты тучи, не переставая, громыхали и сверкали электричеством над Валькиной неопохмеленной головой.

Медведица разбушевалась не на шутку. Черные, с белыми завитками волны, немилосердно бились о борт латаной во многих местах казанки. Валька с ухмылкой заметил, что эти завитки смахивают на кучеряжки Федоровского шотландского производителя, который накануне сожрал все древние грамоты.

Об утраченных исторических документах, в отличие от Арбузова и Пилюгина, он не жалел, так как был уверен, что сочинили их какие-то средневековые мракобесы. Разве что к букинисту отнести, да и то много не получишь.

Но утром, когда Владимир Семенович бушевал, как теперь гроза над трехречьем, Валька своего мнения не высказал, не осмелился. Стоял вместе с Федором руки по швам, втянув от страха голову в плечи. Страшен был в гневе отставной чекист. И зубы, эти огромные передние зубы! Ему даже почудилось, что с них брызгала кровь. Кошмар! До сих пор в ушах Брусловского звенел чугунный голос майора.

– Это кто, гнилушки вы болотные, шотландскую тварь от дерева отвязал?! Отвечать я говорю!

Ни Валька, ни Федор решительно не помнили, кто из них совершил сие чудовищное преступление, а потому благоразумно молчали.

Неожиданно Пилюгин стих. Сел за стол, на котором все еще валялся к верху дном раскрытый пустой ларец, принялся гонять обгоревшей спичкой заблудившегося муравья.

Еле слышно процедил сквозь зубы:

– Мало вас крокодилам сиамским скормить, unanstandige Knabe, в кандалах до Владивостока, голыми….Нет и этого мало.

И вдруг хлопнул себя по шее.

– Ха, а я кажется, вспомнил! Это ты, Валька, лесной царь, Forstmeister, рогатую скотину на волю выпустил. Ну, конечно, бычья морда еще вон из тех кустов выглядывала. Значит, то по твоей милости мы манускриптов лишились, а Россия спасения. Ты нанес невосполнимый ущерб национальной безопасности страны, так и знай. Я уж не говорю об оскорблении памяти бедного отшельника Иорадиона, плоды титанического труда которого, переваривается теперь в кишках ходячего бифштекса!

Капитан схватил со стола кухонный тесак.

– Будем проводить экзекуцию.

Брусловскому было стыдно вспоминать, что случилось дальше. А дальше, после страшных слов Пилюгина, он малодушно бросил своего друга Федора и со всех ног помчался к калитке. Однако добежать до нее не успел. Особист оказался быстр, как бенгальский тигр. Он настиг лесника в три прыжка, повалил на землю. Валька думал закричать, но воздух в легких будто оледенел.

Когда лесник уже прощался с жизнью, черные с кровавым оттенком зрачки особиста сузились, стали почти бесцветными. Владимир Семенович залился своим лающим смехом.

– Вставай, друг зверей, я пошутил.

Пилюгин разогнулся, метнул нож в стоящее в двадцати метрах дерево. Тесак просвистел мимо виска Арбузова, на половину лезвия вошел в ствол вяза.

– Die Scherz, шутка, – обнажил резцы капитан. – Не тебе, быку надо бы чрево изнутри проверить, да, наверное, теперь бестолку ходячую шотландскую тушенку вскрывать. Переварил все, засранец. И Федор Иванович был бы, вероятно, против такого мероприятия.

Дружески похлопав лесника по плечу, капитан помог ему подняться.

– Идем к столу, обсудим ситуацию.

И Валька послушно, как нахулиганивший щенок, поплелся за Пилюгиным. А тот сел в полюбившееся ему кресло, подпер подбородок волосатыми руками.

– Что мы имеем по делу боярина Налимова, то бишь отшельника Иорадиона, якобы обретавшегося в пятнадцатом веке на Гадючьем острове? Ничего. Какими вещественными доказательствами располагаем, что он действительно изготовил необыкновенное похмельное снадобье? Никакими. Можем ли мы продолжать в таких условиях начатое нами дело? Нет.

Пилюгин повертел в руках старинный теремок, в котором еще вчера находились все вышеперечисленные вещественные доказательства.

– Разве что этот ларчик. Теперь он, как куриное яйцо без содержимого, одна скорлупа.

– Давайте в навозе покопаемся, – неуверенно предложил фермер Арбузов. – Вдруг что… осталось?

– Иди, Федор, покопайся, – охотно согласился бывший особист.

Он нехотя поднялся с кресла, направился к малиновым кустам, выудил из них недопитую бутылку армянского коньяка.

Налил только себе полную кружку. Смачно выпил, занюхал рукавом.

– Объявляю с этой минуты сухой закон, – сказал он, выкатив на друзей близорукие глаза, – до особого моего распоряжения. Принеси, Федор, пожалуйста, перо и бумагу.

Оказалось, что Владимир Семенович Пилюгин обладает феноменальной памятью. По его словам, он способен запоминать целые книжные страницы. А сей дар открылся у него в Высшей школе КГБ, после того как на занятиях по физической подготовке, лазая по канату, он сорвался с шестиметровой высоты и ударился затылком о штангу.

Майор аккуратно воспроизвел в чистой ученической тетради текст пергаментного списка, сделанного с духовной грамоты Иорадиона, а также начертил подробный план Ильинского монастыря.

– Ну, так-с, – удовлетворенно хмыкнул Владимир Семенович, глядя на свое творчество. Не будем терять времени, оно сейчас не на нашей стороне. Мы с тобой, Федор Иванович, немедленно отправляемся на Гадючий остров. Если мой батюшка ничего не перепутал, что, в общем-то, маловероятно, то вернемся с серебряным кинжалом. Возможно, и в нем какой-нибудь ключик к заряйке имеется. А вы, Валентин, плодово-ягодная ваша душа, собирайтесь в Ильинскую психиатрическую клинику.

– Я лучше домой пойду, – опять испугался Брусловский.

– Отставить! – гаркнул капитан, – horen sie mal! Слушайте! Два года назад местные власти решили перенести клинику из монастыря в другое место, а древнюю обитель вернуть патриархии. Дело, казалось, уже решенным и святые отцы открыли в монастыре храм Вознесения пресвятой Богородицы. Однако, как всегда бюрократический механизм дал сбой, дело с официальной передачей затянулось. В результате, в бывшей обители теперь и клиника для душевнобольных, и действующая церковь. Как вам, а? Служит в храме некто отец Лаврентий. По агентурным спискам КГБ он не проходил, но я кое-какие справки через свои каналы навел. Даниил Цветков, он же отец Лаврентий, лоялен к нынешнему режиму, любит классическую музыку, особенно Свиридова, вообще культурен. При этом батюшка чрезвычайно вспыльчив и несдержан в земных своих слабостях. Любит хорошо выпить и закусить. Особенно уважает копченую стерлядку. Вот, Валентин Данилович, вы и отвезете ему гостинчик.

– Стерляди нет, – возразил Валька, – бестер иногда попадается.

– Что ж, бестер, тоже осетр, – резонно заметил майор. – Познакомься с батюшкой и скажи, мол, приехал к тебе намедни родственник из заграницы. Ну, например, двоюродный шурин сестры деверя, не важно. Хочет пожертвовать малую толику на богоугодное дело, а именно на восстановление Ильинского монастыря.

Пилюгин с сожалением посмотрел на дно пустой кружки, продолжил давать наставления:

– Скажи, завтра шурин прибудет в храм для деловых переговоров. Главное, не упои попа в усмерть, виночерпий, он нужен нам живой. Но и в недопитии не оставляй.

– Зачем же тогда ехать сегодня? – не понял егерь. – Завтра сами и расскажете ему о своем деле.

– Я привезу батюшке опохмелье. А с опохмеленным человеком и разговаривать легче. Ясно?

– Так точно! – неожиданно для себя выпалил Брусловский, и за эту покорность ему тоже теперь было ужасно стыдно.

Валька причалил к заросшему камышами берегу. Кое-как выбрался из лодки сам, а затем вытащил из нее большой мешок с копчеными лещами и бестерами. Развязав мешок, Брусловский сунул в него нос. Аромат свежеприготовленной рыбы наполнил всю округу, напрочь перебив запах цветов. Оставшись довольным от созерцания плодов своего труда, лесник закинул мешок на плечо, взял курс на сельский магазин.

На выданные майором деньги, купил пять бутылок «Гжелки» и шесть пива. Два литра водки запихнул к копченым лещам, а одну бутылку распечатал сразу и выпил сразу на крыльце продмага, закусив молодым подорожником.

От сельпо были хорошо видны полуразрушенные, побеленные еще при советской власти стены Ильинского монастыря, над которыми блестела на солнце крашенная серебряной краской луковка церкви Вознесения.

Через главные ворота монастыря-лечебницы Валька не пошел, решил, что незачем тратить время на объяснения к кому и зачем, а обогнул бывшую обитель со стороны реки. Там, с позадов, сосново-березовый лес подступал к самым стенам.

Возле сторожевой башни с заколоченными фанерой бойницами, он, как и предполагал, отыскал небольшую дыру в стене, заваленную досками и опавшими ветками. Брусловский разгреб завал, ящерицей проскользнул на территорию медицинского заведения.

По чисто выметенным дорожкам, между кельями, трапезными и еще непонятно какими строениями, спокойно прогуливались сумасшедшие в серых халатах. Некоторые из них вполголоса разговаривали сами с собой.

На лесника никто не обратил внимания и он, отряхнувшись, стал прикидывать, как лучше пройти к церкви.

Вдруг кто-то осторожно тронул его за плечо. Он обернулся и увидел перед собой худого, стриженного наголо человека. В таком же сером халате, как и все остальные. Лицо человека было настолько рыхлым и невыразительным, что Валентин не понял – мужчина перед ним или женщина. Но одно стало ясно сразу – пациент.

Человек долго смотрел на лесника глубоко запавшими грустными глазами, а затем спросил:

– Вы постановления Совета министров о выполнении Продовольственной программы читали? То-то. А я хорошо изучил. Ничего у большевиков больше не получится, они Госдепу на корню продались.

Не зная, что ответить и, к тому же, не имея никакого желания разговаривать с душевнобольным, Валька торопливо развязал мешок с рыбой. Выудил из него жирного леща, сунул под нос начитанному психу. Тот сразу же откусил рыбе голову, выплюнул, побрел восвояси.

– Господи, упаси и сохрани от дураков ненормальных, – мысленно перекрестился Брусловский. Он поправил за спиной мешок, зашагал в сторону храма Вознесения.

До церкви оставалось не более двадцати пяти метров, когда сзади кто-то прорычал:

– Стоять, не двигаться, руки по швам, гнида!

Снова этот урод, подумал Валька. Вот, ведь, пристал, словно несчастье к моей жизни.

– Пошел на…, – не поворачивая головы, отмахнулся он.

Но затем все же обернулся. К нему, сверкая роговыми очками, приближался мужик в белом халате, в таком же белом чепчике, сбитым на бок и широких зеленых штанах.

– Из какой палаты и почему не в робе?! Мешочек? А что это у тебя за мешочек? Показывай, сволочь, чего украл!

Валька раскрыл рот, но слова застряли где-то глубоко в горле. Медицинский работник был в три аршина ростом, а лицом походил на чикагского гангстера, да еще со сломанным носом.

Не желая больше продолжать беседу, медбрат сдернул с плеча лесника мешок, начал высыпать содержимое на землю. Одна из бутылок звякнула о камень, в воздухе запахло ядреной сивухой. Сверху на пахучую лужу посыпалась копченая рыба.

Такого обращения Брусловский снести не мог. Он взял за хвост самого большого бестера и со всего маху врезал шершавой, гвоздистой тушей по физиономии сотрудника лечебницы.

В следующую секунду на территории древнего монастыря сделалось так же шумно, как когда-то при его осаде иноверцами.

Перепуганные больные, подобрав полы серых халатов, разбежались, кто куда, попрятались в щели и уже не рисковали выходить на прогулку до самого ужина.

Измена

Черт знает что в державе происходит, с горечью размышлял боярин Скоробоев, мчась в крытых санях по кашинской волости. Такого при Алексее Михайловиче не бывало. Подумать только – царь повелел отправляться в Ильинскую глухомань, а никакой бумаги с высочайшим предписанием не выдал. Управляйся, как хошь, а не управишься, головой ответишь. Укатил в Европу, Люцифер. Одно душу греет, в случае успеха экспедиции грозился две деревеньки и маршальский титул пожаловать.

Пришлось Ерофею Захаровичу идти к Ромодановскому, а тот недолго поразмыслив, издевки ради что ли, отослал его за дорожными грамотами в Преображенский приказ. Никак Скоробоев не мог понять, для чего же в Преображенский. В нем ить ведают мятежными делами и прочими изменами.

В приказе, однако, волокиты не последовало. На Москве князя-кесаря боялись не меньше, чем Петра Алексеевича. А потому исполнили все быстро и исправно и даже денег всего две полушки взяли.

Скоробоева записали в бумагу путным боярином по важному государеву делу.

Приставили к Ерофею Захаровичу чуть ли не войско. В коем и личная охрана, и конюший, и сокольничий, и даже чашник с ловчим.

А на кой хрен, спрашивается, мне теперь сокольничий? На охоте развлекаться? Голову бы сберечь и то ладно, ворчал боярин, отыскать хоть бы чего-нибудь. Однако самолюбие его тешилось. Ишь какой эскорт, как у самого царя. То-то хорошо быть в чести.

Ерофей Захарович безрадостно взирал на бескрайние поля, усыпанные галками и вороньем, темный пугающий лес и перелески.

Никакого покоя на земле русской не стало. Воровство, пьянство, блуд. А лихих людей развелось! Со двора одному выйти нельзя. Того и гляди, за первым же углом орясиной башку сшибут. Вот чем Преображенскому приказу заняться надобно, а они стрельцов к потолкам вешают. Худо.

Душу грела одна радость, что уехал из неспокойной Москвы, от Ромодановского, а, главное, от Софьюшки. От ить стервь. На дыбу, как на пирушку отсылает. Натворит матушка дел, покуда Петра Алексеевича нету. А кому опосля расхлебывать? Софье – то что, ну отошлет ее государь в какой-нибудь затхлый монастырь и вся недолга, а сподручникам – тупой топор. Неспроста князь-кесарь меня в Преображенский приказ посылал – гляди, мол, чем кознодейства пахнут. Нет, лучше уж похмельное зелье искать, чем на дыбе у псов Петровых извиваться.

Сытые кони все дальше уносили боярина от страшной Москвы. Он, почти не отрывался от застекленного по последней кукуйской моде синего окошка. Да потягивал из фляги хлебное вино. Так лучше печалилось. Лишь иногда переводил взгляд на дремлющего рядом Емельяна Арбузова.

Кажись, лепый парень, неблазный, но зело хитрый, глаз да глаз за ним острый надобен.

Нет, не опасался этого, как оказалось, веселого паренька, Ерофей Захарович. Чего опасаться? Мало ли что тогда спьяну в государевом кабаке наговорил. Дело прошлое, никто не докажет. И потом, стоит только слово сказать своей челяди и не найдут Емельку даже голодные волки. Но ни к чему. Понравился Скоробоеву сын оружейного мастера Никифора. За гибкий ум, за рассудительность, а еще за то, что умел Арбузов рассказывать сказки, да не нынешние, а старинные, добрые. Про верховного владыку вселенной Сварога, про бога тихого ветра и ясной погоды Догоду, который: «не пашет и не сеет, не косит, не молотит, не косит, не молотит, беспечно жизнь проводит».

Да, прошли сладкие для сердца времена, когда было тихо и покойно. Когда можно было, выпив рюмку можжевеловой водки завернуться в теплый тулуп и, ни о чем не думая, глядеть себе в потолок. Будто тот Догода.

А как сладко было предвкушать, как завтра приеду в Кремль, приложусь к ручке Алексея Михайловича, а потом чинно сяду в царских палатах и стану вкупе с другими боярами думать, как приструнить ляхов-мракобесов. Как пособачусь с Долгорукими, а опосля с ними мировую разопью.

Сердце от этих мыслей у Скоробоева сладко сжималось и ныло.

А ныне что? Тьфу! Вот токмо Емеля душу старыми рассказцами и согревает.

Ерофей Захарович взял Арбузова в экспедицию чашником, положил полтора рубля жалованья и пока об том ни разу не пожалел.

– Емельян, – тихо окликнул Скоробоев дремавшего парня, – ты в энтих краях бывал?

Арбузов открыл правый глаз:

– Приходилось, боярин. С батюшкой в Кашин к мастеру Неклюдову ездил. Он замечательные грушевые приклады для мушкетов и аркебуз потачает. Вот погляди. – Парень вытащил из запазухи небольшой кремневый пистоль с резной рукоятью.

– Убери, убери сатанинское железо, – взмолился боярин, стрельнет пади еще.

– Да как он стрельнет? Я на полку пороха не подсыпал.

Скоробоев только слегка махнул рукой и опять вздохнул:

– Что, далече нам еще до Ильинского монастыря?

– А где мы?

– Белый городок миновали.

– Еще часа два нам в возке трястись.

И вновь принялся Ерофей Захарович грустно созерцать окрестности в синее запотевшее окошко.

– Не переживай боярин, найдем мы твой похмельный эликсир. А нет, так сами придумаем.

– Как же сие возможно? – удивился Скоробоев.

– Плевое дело. Я сам составов двадцать от тяжелой головы знаю. Например, зело помогают варенные в молоке поросячьи уши али голубиная кровь с красным вином.

– Тьфу, отравь. Не об том речь! – нахмурился боярин. – Аз тебе сколько глаголю. Царю заряка надобна. А ты уши поросячьи! Неблазно. Прелестно.

Когда боярин волновался, часто переходил на старинные слова, которые на Москве давно уже не были в ходу.

– Приедем в Ильинский, разберемся. Хитрые мнихи наверняка чего-нибудь ведают об заряйке. Когда монастырь-то поставили?

– Дьяк в приказе мне глаголил, что лет триста тому. Его не раз грабили, жгли, а потом перестраивали. В последний раз при Михаиле Федоровиче. Аз и волнуюсь, не затерялась ли могилка отшельника?

– Мы у чернцев монастырские летописи вытребуем. Старец ведь не простого рода племени был?

– Высокого, боярского. Ежели мой пращур не отменную сказку об нем сочинил.

– На выдумки славился?

– Тебе до него аки до Бухарского эмира.

Емельян хмыкнул, помотал льняной головой:

– Ежели боярского, то об Иорадионе непременно должно быть в монастырских книгах отписано.

К полудню возок, сопровождаемый конным отрядом, остановился у монастырских ворот.

На колокольне Андрея Первозванного вовсю старался рыжебородый послушник. Дело свое он знал. Мягкий, почти бархатный звон колоколов неназойливо заполнял всю округу и растворялся где-то вдали, за рекой Пудицей.

Настоятель Ильинской обители архимандрит Лаврентий был заранее оповещен о приезде боярина Скоробоева по важному государеву делу.

В праздничных церковных одеяниях он самолично встречал гостя у монастырских ворот с образом Божьей матери в золотом окладене.

Шестидесятилетний архимандрит, оказался веселым, разговорчивым старичком. Несмотря на великий пост, он велел принести в свои покои зеленого рейнского вина, белорыбицы, копченых гусей и маринованных грибов.

За столом, он постоянно теребил на своей груди большой золотой крест, надетый поверх великолепного, расшитого серебром стихира и говорил Скоробоеву:

– Отведать скоромной пищи в великий пост со странниками не грех. Аз ужо второй день вас жду. Душой и телом извелся. Времена теперь промозглые, занозистые, всякое случиться может. Будто при патриархе Никоне живем, царство ему небесное и дай ему бог на облаках не хворать.

Боярин подавился гусиной лапкой. В последние тридцать лет было строжайше запрещено всякое упоминание имени мятежного патриарха – раскольника, выдвинувшего тезис «священство выше царства».

На помощь хозяину пришел чашник Емельян, который от души врезал боярину по спине. Его же удивило не упоминание настоятелем опального раскольника, а то, что он пожелал давно усопшему патриарху мирского здравия. Как-то не вязалось это с архимандритским чином.

– Вы кушайте, кушайте, – уговаривал Лаврентий боярина. – Древний сириец Абуль-Фарадж, сказывал, что наш ум – есть древо. И увешано оно теми плодами, коими наполняет их пища. Сице истина, да не вся. Не дано было нехристю оттоманскому уразуметь, что зело важнее душа. Насколько она способна любить бога, слышать и понимать чужую боль, настолько сочны и плоды ее. Без брашна – смерть, но иного как не корми, а он все жаб мокрохвостый, дурак дураком, блядь блядская. Говно, одним словом.

На сей раз, кусок застрял в горле у Емельяна. Сын оружейника, конечно, владел словами и покрепче, но слышать ругательства от духовного лица ему еще не доводилось.

А боярин, не зная как воспринимать речь архимандрита, отложил в сторону деревянную двузубую вилку, вытер рукавом рот и решил перейти к делу.

– Мы, отец Лаврентий, по важному поручению Петра Алексеевича, – он кивнул чашнику, и тот подал настоятелю грамоту Преображенского приказа. – При великом князе Иване III в Ильинской обители был погребен некий боярин Федор Иванович Налимов. До кончины он вел жизнь отшельника под именем старца Иорадиона на одном из волжских островков. Нам надобно немедля осмотреть его склепницу, али раку.

Отец Лаврентий осенил себя крестным знаменем.

– Склепницу Иорадиона? Аз молюсь в обители ужо двадцать пять годов, но о горемычном Иорадионе не слыхивал. И в подземном некрополе, дорога к коему ведет из главного храма, его гроба ни разу не видывал.

– Надобно взглянуть в монастырскую сказку, – подал голос Арбузов.

– Разумно, сын мой, – согласился настоятель. Он подозвал одного из послушников. – Приведи, Савушка, брата Самсония.

Маленький и круглый, с загнутым как у филина носом монах подлил всем рейнского и, поклонившись, вышел. Однако перед тем как послушник закрыл за собой дверь, сын оружейного мастера заметил, как нехорошо, недобро он глянул на боярина Скоробоева.

Самсонием оказался тот самый рыжебородый монах, который так искусно извлекал бархатные звуки из монастырских колоколов.

Зайдя в покои, он первым делом поклонился настоятелю, а затем уж перекрестился на образа. Выслушав вопрос архимандрита – где старые монастырские летописи, он начал нести какую-то околесицу. При этом монах жутко картавил и заикался. И все же гости смогли понять, что в блазное лето, 7079-го, крымский хан – собака Девлет-Гирей подошел к Москве. Из Новодевичьего, Новоспасского и Рублевского монастырей ценные летописи и сказки вывезли в дальние обители. Часть книг попала сюда, в Ильинский. А после нашествия, когда бесценные документы стали возвращать назад, возникла путаница. Вместе с московскими книгами, в белокаменную отправили и старые Ильинские сказки. Где они теперь – одному богу известно.

– Истина, – подтвердил слова послушника отец Лаврентий. – Древних монастырских сказок у нас не сохранилось.

И только за этим нужно было приглашать рыжего обалдуя? – мысленно удивился Емельян и с недоверием прищурился на архимандрита. Сам не мог объяснить, мухомор залежалый? Как – никак четверть века в монастыре. Чудно.

– Беда на мою голову! – застонал Ерофей Захарович.

– Н-н-не пл-л-огневайся, б-боялин, – гнусаво закартавил послушник Самсоний, – а-а-а для чего Петлу Алексеевичу Иол-ладион?

Арбузов не пропустил мимо ушей такой оказии, сразу же вскинулся:

– Откудова тебе вестимо, чернец, что царю отшельник Иорадион потребен?

Тот отвернул голову, почесался.

– Иди, Самсонушка, иди, – нахмурил брови настоятель. – Проверь лучше все ли готово для отдыха наших гостей. Вы извините, Ерофей Захарович, боярских кроватей, да перин не имаем. Не о теле печемся, о душе. Обаче для вас братья кое-что подобрали. Члены свои во время почивания не утомите.

Несмотря на повеление архимандрита, послушник никуда уходить не собирался. Он все так же стоял перед столом, скрестив на животе мозолистые, должно быть от колокольных канатов пальцы.

В другой раз отец Лаврентий гнать Самсония не стал. Он сам налил Скоробоеву вина, спросил:

– А то и в самом деле зело любопытно, зачем государю, дай бог ему попутного ветра в дальних странствиях, понадобился старец?

Ерофей Захарович открыл уже рот, чтобы поведать архимандриту о заряйке, но Емельян незаметно толкнул его кулаком в бок.

– Боярин притомился, вона очи у него слипаются. Шутка ли двести верст отмахать!

С этими словами Арбузов нежно обнял Ерофея Захаровича за плечи и вдруг резко выдернул из-за стола.

От такой непочтительности Скоробоев разозлился, но наглый чашник колюче взглянул ему в глаза и тоном нетерпящим возражения, произнес:

– Сей же час отправляемся почивать.

Боярин неожиданно почувствовал, что здорово захмелел и более возмущаться не стал.

Под десницу его взял Емельян, под левую руку подхватил брат Самсоний.

Напоследок настоятель тихо сказал Скоробоеву:

– Поутру, брат Самсоний монастырское похмелье принесет. Мы его готовим по старинному рецепту. Желчь недельных поросят варим с волчьими ягодами в красном вине. Как рукой тяжесть снимает. А вот заряйки, извините, не имаем.

Скоробоев и Арбузов враз обернулись, но архимандрит уже удалялся в соседние палаты. За ним тяжело захлопнулась окованная железом дверь.

На дворе боярина совсем развезло. По дороге в почивальню он все норовил дотянуться носом до кончиков своих красных сафьяновых сапог.

Возле сторожевой башни, с сохранившимися на ней после шведского нашествия пушками, топтался послушник и кровавым куском мяса тер себе лицо.

– Боже милосердный, что с ним? – обомлел Емельян.

– Бл-лат Михаил кул-линой гузкой бол-лодавки с носа сводит, – спокойно ответил Самсоний. – Сколько лаз ему глагол-лили, мол-лись, и бог о-о-очистит твой выступень, а о-он все кул пе-е-леводит.

Действительно, возле пня, из которого торчал топор, валялись две бездыханные куриные тушки. Послушник Михаил что-то бормотал себе под распухший нос и с глазами болотной нечисти, все тер и тер его сырым мясом.

У братских келий, в большом деревянном корыте два монаха резали поросенка. Один держал его за лапы, другой протыкал чрево визжащей твари кривым ножом. Животное билось и хрипело, и из его бока в корыто стекала зеленовато-коричневая жидкость.

– Сразу что ли нельзя прикончить? – передернулся Арбузов.

– Ж-ж-желчь извл-лекают, – пояснил рыжебородый звонарь. – Для в-в-вашего похмелья. Желчь должна быть непл-л-леменно из живого пол-л-лосенка.

Отведенные боярину покои оказались обычной тесной монастырской кельей. Под тяжелыми белеными сводами по обеим сторонам были приготовлены деревянные лежанки. Одна была покрыта высоким матрацем, набитым сеном, другая лишь серой дырявой тряпкой.

– Вот тебе и опочивальня! – рассмеялся Арбузов. – А ковров персидских от чего нет?

Ухмыльнувшись, Самсоний, быстро вышел из кельи.

Бережно устроив Ерофея Захаровича на соломенной перине и укрыв его горностаевой шубой, Емельян сел напротив беззаботно захрапевшего боярина, задумался.

Что-то здесь не так, не честно. И владыка какой-то чудной, совсем не поповски глаголет, мнихи странные – смотрят нехорошо, не по-доброму, мясом сырым морды мажут. А главное – эта последняя фраза архимандрита, что заряйки у них нет. Значит, прекрасно вестимо настоятелю, зачем боярин в обитель пожаловал. Да что настоятель! Даже звонарь знает, что мы приехали за отшельником Иорадионом. А история Самсония про перепутанные и увезенные неведомо куда монастырские сказки, вообще бред горячечный. Уж не кликнуть ли на всякий случай боярскую охрану, стрельцы тут недалече, в слободе стоят? Ох, нелюба мне сия Ильинская братия. Глядишь, прирежут еще ночью, аки того поросенка.

Емельян припомнил сцену экзекуции над бедным, визжащим в предсмертном ужасе поросенком, поежился.

Мерзость, какая. Человека бы резали, не так жалко было.

Чашник поднялся с лежанки, чтобы пойти в слободу разыскать начальника охраны десятника Пузырева, но вдруг передумал. Он взял из глиняной плошки сальную свечу, затушил ее, сунул в карман. Подсыпал на полку пистоля пороха, сунул его в другой карман, туда же отправил огниво, вышел из кельи.

Монастырский двор дремал в объятьях тихой черной ночи. Лишь малый кончик новорожденной луны выглядывал из-за зубчатых стен обители. Однако в этой слабой подсветке четко вырисовывались купола храма Владимирской божьей матери.

К собору и направился Арбузов, стараясь не делать лишних движений и не шуметь.

Отец Лаврентий сказывал, что в подземный некрополь можно попасть из главного храма.

Молодой человек обошел парадное крыльцо белокаменного сооружения и сбоку храма обнаружил лестницу, ведущую вниз, к чугунной двери. Он осторожно спустился и увидел, что дверь слегка приоткрыта. Шибче отворять ее не стал, протиснулся в узкую щель. Прислушался. Тихо. Тогда Емельян полез за огнивом и свечой, но тут, спереди, саженях в десяти вспыхнул огонек. Арбузов упал на четвереньки, прижался спиной к ледяной стене.

Огонек впереди заколыхался и вскоре от него разгорелся факел. В его ярком свете чашник опознал рыжебородого брата Самсония. С ним был кто-то еще.

– Не бойся, воевода, тут чертей, али еще какой нечисти не водится, – сказал Самсоний не заикаясь и не картавя. – Место чистое, замоленное. Здесь храмовая усыпальница, а подземная там, за дверью. Сейчас отопру.

Послышался лязг отпираемых замков. С тяжелым скрипом дверь в подземелье медленно отворилась.

– Под ноги токмо гляди, не обступись, а то можно и башку в кровь расшибить.

Когда звонарь и его спутник скрылись за дверью, Емельян пополз за ними.

И за дверью тоже не поднимался с живота, проворно скользил по острым камням, словно настоящий аспид.

Саженей через двадцать подземный туннель раздваивался.

– Нам на правый локоть, – прогнусавил Самсоний, – а некрополь туда. Там и рака отшельничья, что вам всем понадобилась.

Проход, по которому двигался монах с каким-то воеводой, становился все уже и ниже. Однако через несколько саженей своды коридора опять расширились. Парочка остановилась.

– Сюда завтрева мы и приведем наших гостей. – Рыжий монах громко засмеялся и высоко поднял десницу с факелом, осветив небольшую пещеру.

– Здесь тупик? – задал вопрос спутник звонаря и Емельян с ужасом распознал голос не кого-нибудь, а десятника Пузырева, начальника охраны боярина Скоробоева!

– Отчего же? Вон за той глыбой лаз продолжается. Его прорубили еще при Василии Шуйском. Он в Ильинском монастыре от Бориски Годунова скрывался. А опосля, егда Василий царем стал и со шведами союз подписал, от московитян здесь прятался. Этот рукав подземного хода ведет к берегу Пудицы.

– Не учуял бы неладное боярин. И чашник у него шустрый, аки хорь.

– Где им заподозрить? Владыка пригласит Скоробоева с Емелькой оглядеть усыпальницу, приведет их в сию пещерцу, пропустит вперед. А егда они приблизятся вон к той плите, я вышибу из стеночки сию дубовую опору. Видишь, она еле сдерживает каменный свод? И все, поминай, как звали. В Москву отпишем, мол, несчастливый случай. Ну, для верности несколькими нашими братьями пожертвовать придется. И тебя, воевода, искусно поранить.

– Это для чего?

– Не смышленый какой, а еще воевода! Подтвердишь своими синяками в Преображенском приказе донесение архимандрита. Якобы сам при нежданном обвале присутствовал. Еще и денег получишь, аки раненый при исполнении государева долга. Отошлешь сюда опосля.

– Гляжу ты смышленый за смертоубийство деньжищи хапать.

– А не ты ли смертоубийство предложил? Можно было боярина запутать, куда-нибудь в Звенигород услать, али еще далече.

– Аз не за деньги стараюсь. Сказано царевной – голову боярину с плеч, так тому и быть. А ты, мних, словоблудливый шибко.

– Не гневайся. Аз тоже не свою волю выполняю.

– Вот и не блуди. Скажи лучше, где старая сказка монастырская?

– Тебе – то зачем?

– Ну?!

– В церкви Вознесения, в библиотеке.

– Ты про отшельника Иорадиона, поди, ужо вычитал. Он и впрямь чудодейственное похмелье готовил?

– Летописная запись от лета 7012-го о пустыннике подробная имеется. В раке его прах, в стене. Голова и десница. И про заряйку сказано. Обаче состава эликсира в сказке нет.

– Знать, правду глаголил Скоробоев царице, что главная тайна хранится в могиле старца. Хорошо бы боярина на дыбе подвесить, попытать. Верно, не все он Софье поведал, да черт с ним. Как завтра дело сделаем, так раку и вскроем. Кстати, а почему пустынника целиком в гробнице не похоронили, а токмо башку да десницу в стене замуровали, святой, что ли был?

– Какое там! Видно, для него больше места не нашлось.

– Для боярина Налимова-то?

– Кто тогда ведал? Жил себе какой-то отшельник оборванный на Гадючьем острове и питие непонятное варил. Это ведь опосля, егда Иван III прознал об Иорадионовом боярстве, велел его жинку и ихнего отпрыска Налимовыми величать, а деревню Сырогоново в Миголощи, то есть в колдовскую гать переименовать. Налимовы и ныне в Миголощах живут свободными землепашцами. Их палаты не хуже московских. Хоть и прогневался государь на Иорадиона, что тот ему тайну заряйки не открыл, а Февронию Налимову облагодетельствовал. Вельми возможно потомки старца ведают разгадку его тайны.

– Вельми возможно, – как эхо повторил начальник охраны Пузырев.

– Ты завтра, воевода, егда сюда придем, поближе к Скоробоеву держись. Перед тем как распору вышибать, я тебе знак подам, вон туда под белокаменный свод отпрыгивай, чтоб не зашибло.

Нет, чернец, не успеет воевода-изменник свою продажную душу спасти. И ты не успеешь, – прошептал Емельян Арбузов и проворно, но неслышно пополз к выходу из подземелья.

Несчастный поп

Отец Лаврентий томился уже третий день. И душой и телом. Проклятая сивуха из местного сельпо не оставляла никаких шансов на скорое выздоровление. И батюшка, в миру Лаврентий Горепряд, все подливал и подливал себе в алюминиевый колпачок от авиабомбы, переливающийся всеми цветами радуги напиток.

Водка вливалась в измученный желудок Лаврентия раскаленным металлом, поджигала внутренности. Батюшка ждал, когда рассеется дым в голове, начинал молиться.

После очередных ста граммов душа святого отца негодовала и возмущалась, казалось, даже лягалась где-то между печенью и селезенкой, но быстро успокаивалась и сладко замирала в предвкушении следующей дозы.

Иерей Лаврентий не пил месяцами, но если уж попадали «божьи слезы» к нему на язык, из храма разбегались и богомольные старухи, и юродивые служки.

Тридцати пяти летний поп с пьяных глаз не дрался, не хулиганил, а читал очень длинные проповеди.

Чаще всего он говорил о своей нелегкой судьбе, которая забросила его в эту «ильинскую сатанинскую яму», поносил коммунистов, коих люто ненавидел. Рассуждал об атеизме, как о психологической основе веры. Говорить мог часами, до тех пор, пока прихожане не отдавали все, что у них было и в недоумении, удалялись. Однако Лаврентий не ставил себе никаких корыстных целей. Наоборот, он был абсолютно бескорыстен.

Хитрые служки перешептывались за иконостасами, мол, подкручивает нашего батюшку бес, терзает как свинья брюкву. Трезвый – человек, как человек, но ежели примет на грудь, гаси лампады и беги, куда глаза глядят.

В отрочестве Лаврентий или просто Лавруша не помышлял о духовной карьере. Хотел, как и многие мальчишки стать космонавтом или, на худой конец, летчиком. Или биологом. В школе единственная отметка «хорошо» у него была именно по биологии. Может быть, и вышел бы из Лавруши новый Павлов или Менделеев, но когда он перешел в девятый класс, о нем вспомнил двоюродный дед Пантелеймон Скоробоевич Цветков, архидьякон Коломенской церкви. Он-то и определил парня в духовную семинарию, несмотря на бурные протесты матери, убежденной безбожницы и большевички.

В семинарии Лаврентию понравилось, и он стал учиться гораздо лучше, чем в школе. Науки не вдалбливались в головы семинаристам из – под палки, как он к этому привык, а подавались по-доброму, с душой. И даже изучая по второму разу утопию Чернышевского «Что делать?», ему уже не хотелось изобрести машину времени, перенестись в 19-век и задушить сумасшедшего писателя-социалиста. В школьном итоговом сочинении от РОНО Лаврентий назвал прокламацию Николая Гавриловича «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», полным бредом и похвалил царскую охранку, за то, что она сослала Чернышевского на каторгу.

Учительница литературы пришла в ужас. За сочинение она поставила Лавруше двойку, но ни в какое РОНО его, конечно, не отправила. Однако Алла Демидовна сама в душе была бунтаркой и зачитала выдержки из сочинения Лаврентия всему классу. Разумеется, она осу-

дила его за «неаргументированность», опровергла «незрелые умозаключения», но, закрывая тетрадь Горепряда, сказала непонятную многим фразу: «Знания порождают скорбь, будьте к этому готовы». Учительница смотрела на Лаврентия уже по-другому, с любопытством и некоторым уважением. И все же в четверти вывела тройку.

В семинарии у Лаврентия появилось большое количество друзей. Он не пропускал ни одной компании, где пели, выпивали или разговаривали о женщинах. Вместе с однокашниками бегал в городской клуб знакомиться с барышнями. Но даже с самыми красивыми никогда не танцевал. Считал, что любой танец-публичная демонстрация тайных эротических переживаний, выпячивание коих глупо и оскорбительно для любой личности.

Когда Лаврентий оканчивал духовный институт, Пантелеймон Скоробоевич, используя свои связи, начал договаривался о месте для внука в дрезденском приходе. Но договориться так и не успел, помер. Оставшись без влиятельного в церковной среде покровителя, Горепряд получил место иерея в Ильинской церкви Вознесения, что находилась в бывшей обители.

Духовные чиновники его уверяли, что скоро психиатрическая лечебница переедет и в Ильинском начнет действовать мужская православная обитель. Лаврентий получит новый статус, но пока «надобно потерпеть».

Это «пока» растянулось на долгие годы. Сумасшедшие не собирались съезжать с насиженной квартиры. Лаврентий оказался в непонятном, и даже комичном положении. Он ощущал себя почти гашековским курфюрстом Кацем. Только тот отпускал грехи армейским идиотам, а он гражданским.

Официально душевнобольным разрешалось заходить в церковь только в сопровождении медперсонала. Но не тут-то было. Граждане с нарушенным психосоматическим статусом и прочими умственными изъянами, припирались в божий храм в одиночку и группами, когда им заблагорассудится.

Однажды, когда чересчур активный больной попытался выломать и унести из церкви амвон, отец Лаврентий не удержался, огрел неуемного дурака по голове серебряной купелью и так заорал на остальных психов, что те надолго забыли к нему дорогу.

Горепряд почти ежемесячно ходил по начальству, просил, убеждал перевести его в другое место, но все без толку.

«Господь терпел и нам велел, – говорили ему дежурную фразу. – Уже недолго осталось ждать. Душевнобольные ведь тоже люди. Только их души блуждают в потемках, пребывают в некой абстракции. Успокоить их, дать силы продержаться до светлого часа – ваш долг».

Долг, – ворчал по ночам отец Лаврентий. – Я уже за него давно расплатился. Разумеется, в церковь приходили и вполне здоровые люди – медики, санитары, обслуга. Из окрестных сел и деревень наведывались старики со старухами. По воскресеньям в монастырь привозили туристов.

Однажды у стен древней обители высадили большую группу экскурсантов из областного пансионата. Толстые, подвыпившие тети и еле держащиеся на ногах дяди рассеяно слушали об обороне монастыря от шведов, о прятавшемся в монастырских катакомбах Василии Шуйском, о подземном некрополе, который, якобы, во время Отечественной войны завалило

немецкой бомбой. Экскурсантов обступали толпы сумасшедших, которые клянчили у них деньги, яблоки. конфеты. Тот самый идиот, что хотел утащить амвон, видя, что мужчины заигрывают с дамами, хватают их за интимные места, тоже решил не упускать случая, пощекотал одну из пышногрудых туристок:

– Дай белочку в шоколаде.

– А душа теплого не хочешь? – вскинулась женщина. – На, попробуй.

Она заколыхалось мощным торсом, подалась назад и резко разогнувшись, смачно плюнула в лицо попрошайке. Но, видно придурок не был законченным идиотом, схватил с земли булыжник, саданул им тетю по лбу. Та всплеснула руками и рухнула наземь.

Началась драка. Да такая драка, что, казалось, рухнут купола собора Владимирской божьей матери. Все усилия крепких санитаров были тщеты, невозможно было разобрать, кто с кем дерется.

В то время отец Лаврентий пребывал в очередном запое, а потому был философски настроен на жизнь. Он выскочил из своего домика, вытянул из штабеля четырехметровую сосновую доску, и ринулся восстанавливать порядок. Не прошло и двух минут, как все было кончено. Пара клиентов лечебного заведения и несколько туристов стонали на земле, остальные участники сражения разбежались кто куда. Больше экскурсионных групп в Ильинскую психиатрическую лечебницу не привозили.

Батюшка принял очередную дозу наркоза, наскоро перекрестился, начал закусывать мелко рубленной, с морковью и клюквой квашенной капустой. До службы оставалось еще два часа, и можно было вздремнуть. Но со двора донеслись крики. Не приход, а геморроидальная лихорадка, – сплюнул отец Лаврентий, выглянул в окошко.

За углом церкви Вознесения неизвестный мужчина в серой куртке, вероятно пациент, хлестал по физиономии санитара здоровенной рыбиной, кажется стерлядкой. Такого действа святому отцу в стенах Ильинского монастыря видеть еще не приходилось. Он даже закашлялся и с нетерпением стал ждать дальнейшего развития событий.

Развязка наступила быстро и без какой-либо интриги. Медбрат сделал умелый выпад и хуком справа уложил гражданина вместе с его рыбой на асфальт прямо у паперти.

Однако откуда у идиота стерлядь? – удивился поп, выбрался на крыльцо.

Санитар нервно дергал за воротник обмякшее тело, грязно и выразительно ругался.

– Утихомирь, брат, гордыню! – крикнул он медбрату, не отрывая глаз от рыбьей тушки.

– Он мне этой шершавой тварью рожу поцарапал!

– А нечего свою рожу под что ни попадя подставлять, – заметил проходивший мимо псих..

Санитар подобрал с земли камень, запустил в душевнобольного. В этот момент очнулся находившийся в нокдауне мужчина, подхватил свою стерлядь и со всего размаху вновь хлобыстнул ею медбрата по физиономии. От мощного и неожиданного удара, санитар отлетел к стенам храма, опустился на пятую точку, завертел во все стороны изумленными глазами.

Конечно, Валя Брусловский. А это был именно он, не остановился бы на достигнутом и завершил битву еще одним ударом, но ему помешал отец Лаврентий6

– Ни к чему стерлядь зря мучить, – назидательно сказал батюшка. – Жирнее не станет.

– Бестера, – недовольно обернулся на голос егерь, но, увидев перед собой попа, просиял:

– Ваше сиятельство, отец Лаврентий!

– Я, – коротко согласился поп. – Величай меня лучше вашим преподобием, сын мой.

– Хорошо, ваше преподобие. Я к вам по делу. Вот рыбку прихватил, еще кой чего, да этот кровосос ко мне привязался.

Санитар снимал с лица ошметки копченой рыбы, озадаченно пробовал ее на вкус.

– По делу говоришь, да еще с рыбкой? – иерей поддел носком ботинка горлышко разбитой поллитровки. – Почему бы не обсудить дело с хорошим человеком? Бери-ка этого Авиценну, сейчас мы ему первую медицинскую помощь оказывать будем.

В умиротворяющей домашней прохладе, батюшка умыл санитара колодезной водой, дал полстакана водки, усадил в углу за печью. Налил себе и Валентину.

– За вселенную и ее повелителя!

Батюшка залпом опорожнил колпачок от авиабомбы, разломал руками многострадального бестера. Отщепил от толстой шкуры сочное розовое мясо, принялся старательно запихивать себе рот. Черные, с фиолетовым отливом усы и борода подернулись жиром.

С положенной для священника растительностью на лице у отца Лаврентия были ужасные проблемы. Не принимала она, несмотря на все ухищрения, божеского вида. Редкие волосья, местами рыжие, местами белые или черные, торчали в разные стороны, как бог на душу положит. Чего только не пробовал батюшка. И средство для ращения волос и краску. Все одно, выходила не борода а, черт знает что. А однажды, невнимательно прочитав этикетку, святой отец помазал лицо эфидратом. Утром его тщедушная бороденка вся оказалась на подушке и простыне. Пришлось посылать в город церковную служку Евгению за искусственной бородой. Да та, дура, купила в драматическом театре не рыжую бороду, подстать шевелюре на голове, а черную, с фиолетовым оттенком. Ну, а куда деваться?

Никто виду, разумеется, не подавал, но втихаря над батюшкой, конечно, посмеивались.

Отец Лаврентий освежил стаканы и со словами: «Иди, богомольный, юродивых ублажай», – выставил санитара за дверь.

– Какое же дело вас ко мне привело? – обратился к Брусловскому поп.

Валька собрался с мыслями, сказал:

– Родственник у меня богатый, ваше преподобие, объявился. Хочет на благо Ильинского монастыря денег пожертвовать.

– Монастыря? – вскинул брови захмелевший батюшка. – А где он тут монастырь-то? Умалишенные дибилы, прости господи, вместо послушников под святыми стенами бродят. И я средь них, как Азазель, как падший ангел обретаюсь.

– Шурин сестры, вернее, двоюродная сестра деверя….А, не важно, короче, родственник, желает по этому делу с вами лично переговорить, – запутался в семейных связях Валька.

– Отчего же теперь родственник твой не прибыл, тебя горемычного послал?

– Служба задержала.

– Слу-ужба, – протянул батюшка, – как собачья дружба. Сколько не корми пса, все одно покусает.

Пили долго и много. Когда батюшку пришел звать в церковь дьяк Филипп, иерей ухватил его за рясу. Навис над коршуном, стал увещевать:

– Мы русские люди даже в сатанинских заблуждениях святы, а потому богоугодны и вечны. Мы святы тем, что добры к другим и несправедливы к самим себе.

Перепугавшийся дьячок выбежал из дома и на вратах церкви повесил привычную всем табличку: «Сегодня службы не будет».

Под вечер, когда уже стала заканчиваться водка, иерей нагнулся к Валькиному уху, попытался за него укусить:

– Чего твоему родственнику от меня надобно, ну?

– Хочет дать денег.

– Даже в церкви никто так просто с копейкой не расстается. все норовят у бога что-нибудь выклянчить.

Поп больно сжал егерю уши.

– Пронюхал что-то твой родственник, не иначе, клад искать надумал.

– Заряйку, – честно признался Валька. – Отпусти!

– Вот оно что, заряйку! А ну-ка, братец, давай выкладывай все на чистоту. Для чего вам эта заряйка понадобилась и что она вообще такое есть.

ОБИ-21

Снилась Озналену Петровичу Глянцеву жирная помойная муха с мордой полковника Пилюгина. Насекомое противно жужжало, извивалось, пыталось присосаться длинным, как у слона хоботом к его лбу. Глянцев отмахивался от мухи, кричал, но не мог почему-то пошевелить руками, чтобы схватить и превратить в месиво эту мерзкую тварь. Наконец муха села на потолок, начала умываться кривыми, черными лапами.

– Скажите, Царевич, почему за вашу фамилию, большевики не расстреляли вас еще в восемнадцатом году? – спросила муха.

– Еще раз повторяю – моя фамилия не Царевич, а Цагевич. Что же до расстрела, видно очередь до меня не дошла. Вы же знаете, у большевиков тогда было очень много дел, – ответил кто-то мухе.

– Да, не повезло вам, – вздохнуло двукрылое насекомое, не переставая умываться.

– Это почему же?

– А потому, что сидели бы теперь в райском саду и кушали кошерный супчик.

– Если не разбираетесь в иудейских традициях, лучше не говорите ничего, Бониффатий Апраксович. К тому же в бога и в загробные чудеса я не верю.

Муха, которую назвали столь странным именем, заинтересовалась:

– В кого же вы верите, в партию?

– Ах, перестаньте. Я верю только в пространственные формы и количественные отношения.

В ответ – тишина. Муха молчала, вероятно, задумалась. Ознален Петрович попытался разглядеть, кто это там невидимый разговаривает с отвратительным насекомым, и открыл глаза. Однако сразу зажмурился, яркий свет был невыносим.

Через минуту, уже осторожно разомкнул веки вновь. Под белым неровным потолком болталась на скрученном проводе большая как солнце лампа. Она заливала пространство пронзительным светом. Теней не было заметно ни в тяжелых потолочных сводах, ни в прямоугольных арках стен, к которым были вплотную придвинуты железные кровати.

На одной из них, напротив Глянцева сидел по-турецки пожилой, щуплый мужчина в цветастом, явно женском халате и с аппетитом кушал из миски манную кашу. Во всяком случае, пахло ей. У мужчины был длинный плоский нос и, когда он наклонялся, чтобы съесть очередную ложку, казалось, что непременно зацепит им миску. В целом же он смахивал на пожилую обезьяну-носача с Каролинских островов.

На другой койке, что видна была Озналену Петровичу лишь краем глаза, полулежал, полусидел мужчина гораздо представительней первого. Он уже доел свою порцию и теперь подчищал миску пальцем.

– И все же мне не понятно, Альберт Моисеевич, почему вас до сих пор не расстреляли, – продолжил он тему, беря в руки алюминиевую кружку.

Носач нехотя оторвался от своей трапезы.

– Еще успеют. А что я им плохого, спрашивается, сделал? Всего лишь попытался вывести математическую формулу построения коммунизма в отдельно взятой стране. Десять лет

пытался доказать, что если «х», то есть советский политический строй величина постоянная, значит, «у», то есть социум, по теории математического ожидания, должен сам по себе становиться величиной более качественной. Но у меня ничего не получилось. Никакого роста нравственного качества общества при большевистском социализме не наблюдается. Почему-то социум постоянно меняет свои ожидания в отрицательную сторону.

– Короче, социум просит жрать, а большевики уже сорок пять лет его не могут, как следует накормить, – резюмировал догадливый собеседник. – Вы что же им об этом так прямо и сказали?

– Боже сохрани, на одном из заседаний ученого совета профессор Брызжалов с соседней кафедры заметил, что аббревиатура моей формулы построения коммунизма напоминает неприличное слово из трех букв. Того самого, что пишут хулиганы на заборах. Но поверьте, если даже согласиться с его странным умозаключением, в конце аббревиатуры должна стоять буква латинского алфавита —«j», но никак не наша – «й». Словом, донесли на меня и теперь я кушаю с вами бесплатную манную кашу.

– Говоря обычным языком, профессор, вы положили огромный член на все их построение коммунизма в отдельно взятой стране.

– Прекратите нести грязную антисоветчину! – завизжал голос откуда-то справа.

– Это наш Бутылочный вождь проснулся, – сказал, заглядывая в открытые глаза Озналену Петровичу, мужчина, которого математик называл Бонифатием Апраксовичем. – Я заметил, и вы воспряли ото сна, поднимайтесь, дружок. Вот поешьте манной кашки.

Бонифатий Апраксович помог Глянцеву поудобнее устроиться на скрипучей кровати, дал ему миску каши с черным хлебом. Ознален Петрович поблагодарил. Начал, было, есть, но не смог удержаться от вопроса:

– Почему Бутылочный вождь?

– А какой же он еще? – заржал крепкий мужчина. – Кстати, забыл представиться. Бонифатий Апраксович Живодеров, ветеринар. Смешно, не правда ли? Ветеринар с такой фамилией. Сижу здесь за то, что местному животноводу Кукушкину в шутку порекомендовал назвать ударный поросячий выводок свиноматки-рекордсменки именами членов правительства. А этот кретин все принял за чистую монету. И на правлении колхоза заявил, что предлагает именовать родившихся свинок Мариями Ильиничнами, а подсвинков мужеского пола Лаврентиями Павловичами. Ну, этого идиота, ясное дело замели, а он указал на меня. Это хорошо, что два года назад, принимая роды у председательской кобылицы, я получил от нее копытом по голове. О чем и справку имею. А так бы помогал теперь родине бороться с лесными насаждениями в Сибири. Это, – ветеринар указал на математика, – Альберт Моисеевич Цагевич. Выдающаяся, можно сказать личность. Чем не угодил советской власти, вы вероятно уже слышали. А тот, что голос подал – Бутылочный вождь, иначе и не назовешь.

– Провокатор, мерзавец, – огрызнулся в углу Бутылочный вождь.

– Не обращайте внимания, – поморщился Бонифатий Апраксович, – он, в сущности, хороший малый, только все не может успокоиться из-за бесцельно разбитых бутылок. Видите ли, Костя Кучумов по образованию архитектор. После окончания института загнали его в какую-то Тмутаракань.

– В Сосновоборский район Пензенской области, – уточнил Бутылочный вождь.

– Человек он молодой, пылкий, а строить там кроме курятников нечего. Вот Костя и решил себя проявить: ни много, ни мало, возвести в райцентре малую копию Дворца Советов, который, как вы знаете, так в Москве и не построили. И не из чего – нибудь, а из пустых бутылок, дабы этого добра в райцентре хватало.

– Более чем, – подтвердил архитектор.

– Трудился мастер три года и три дня, и строение получилось – глаз не отвести. Ликеропиво-водочное, гордо устремленное ввысь здание, а наверху такой же бутылочный, стеклянный Владимир Ильич. В протянутой руке факел, конечно тоже из бутылок, который должен освещать людям путь к коммунизму. Поставили это изваяние в центре города.

– Возле вокзала, на месте фонтана, – уточнил Кучумов.

– На открытие пригласили областное начальство. Все чин – чином, красные ленточки, Интернационал в исполнении кладбищенского оркестра. Но нужно вам заметить, что этот идиот, который лежит в углу, наполнил стеклянный факел не керосином, как сделали бы все нормальные люди, а напичкал его карбидом и залил водой.

– От карбида пламя голубое, небесное, – пояснил Бутылочный вождь.

– Как только факел подожгли, раздались бурные аплодисменты. Однако наш архитектор проделал в факеле слишком маленькое отверстие и бутыль по всем законам физики, рванула. Указующая десница Ильича, а так же его стеклянная головушка, разлетелись вдребезги. И осколки угодили прямо в председателя облисполкома.

– В товарища Петухова Арнольда Павловича.

– И оторвали этому Арнольду Павловичу сразу два уха.

Ознален Петрович подавился манной кашей, стал извергать ее на математика. Тот, казалось, этого не заметил, сам в истеричном хохоте тер двумя руками глаза. Справа от Глянцева раздалось раскатистое ржание. Да не одного коня, а целой кавалеристской бригады.

– Полковник Саврасов, – представил бригаду Бониффатий Апраксович. – Давно здесь в Ильинском мается, бедняга, с 45-го года. Этот заслуженный полководец с двумя орденами Славы пострадал за незнание орфографии русского языка. Помните сказку: «Казнить, нельзя помиловать»? Так это про него. На поверженном рейхстаге, спьяну, собственноручно вывел надпись: «Товарищу Сталину – врагу, всегда дадим по рогу!» Вместо того чтобы после товарища Сталина поставить восклицательный знак, тогда это было бы обращение к вождю, он по неграмотности поставил тире. Вот и получилось, что Сталин враг и ему всегда обломится по рогам.

– Русским языком, конечно, нужно уметь пользоваться, – заметил профессор математики, – но он такой же сумбурный, как и сама русская натура, а потому не постижим. Даже великий Владимир Даль говорил, что русского языка он толком не знает. Все у нас так в России – куда не глянь, кругом черная непостижимость.

– Вот, вот! – теперь уже по-медвежьи заревел полковник Саврасов. – Аккордеон трофейный, бехеровский малинопогонники отобрали. Девицу мою немку Марту Штрассбургскую, я ее под Магдебургом, можно сказать, на шпагу взял, за волосья, да об стену. Только мозжечок брызнул. Собаки!

– Ну вот, дорогой вы наш новый товарищ по несчастью, – заключил ветеринар Живодеров, обращаясь к Глянцеву, – теперь вы все про нас знаете. Если хотите, расскажите о себе. Только предупреждаю сразу: не нужно изображать из себя, скажем, академика Лысенко или незаконнорожденную дочь Христофора Колумба. В ОБИ-21 настоящих сумасшедших не сажают. Зато это, пожалуй, единственное место в стране, где можно не скрывать своих убеждений и говорить что угодно и когда угодно.

Ознален Петрович поставил недоеденную кашу на тумбочку, неокрепшим голосом спросил:

– Что такое ОБИ-21?

Трактористу быстро и доходчиво объяснили, что он попал в особый больничный изолятор, таких в лечебнице, видимо, 21.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.